

2'2009
апрель-июнь

Литературная Армения

Издается с декабря 1958 года

Литературно-художественный и общественно-политический журнал
Союза писателей Армении и Союза армян России

Հայաստանի գրողների միության և Ռուսաստանի հայերի միության
գրական-գեղարվեստական և հասարակական-քաղաքական հանդես

В НОМЕРЕ:

ПРОЗА, ПОЭЗИЯ

<i>Ваагн Давтян.</i> Без названия. Роман-воспоминание. Окончание. Перевод С.Товмасян.....	3
<i>Сона Ван.</i> Из книги "У меня нет имени". Стихи. Перевод К.Лазаревой.....	40
<i>Норайр Адалян.</i> Вторая смерть чиновника. Рассказ. Перевод К.Халатовой.....	45
<i>Баграт Алекян.</i> Из книги "Вулканические ночи". Стихи. Перевод А.Татевосян.....	64
<i>Эльда Грин.</i> И приснился ему Арно. Кафе "Встреча". Рассказы.....	67
<i>Владимир Пальчиков.</i> Из армянской поэзии	78

<i>Лариса Геворкян. Как ты, доченька? Рассказ. Перевод</i>	
И.Маркарян.....	85
<i>Гаянэ Ахвердян. Дневная свеча. Стихи.....</i>	108
<i>Издалека – с любовью</i>	
<i>Елена Широкова-Тамбовцева. Сладость слова и</i>	
<i>горечь. Юрий Арустамов. Сестра моя, Армения.....</i>	111

ОЧЕРК, ПУБЛИЦИСТИКА

<i>Ирма Сафразбекян. “Покинув отчие края, ушли навек...”</i>	121
<i>Левон Микаэлян. Операция “Немезис”.....</i>	136
<i>Артэм Григоренц. Кем была Лйастан Геворкян?.....</i>	157
<i>Мэри Чолакян. Древнейшие университеты.....</i>	164
<i>Диаспора в лицах</i>	
<i>Турген Карапетян. Армянин, возшедший на атомный</i>	
<i>Олимп.....</i>	173

КРИТИКА, ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЕ

<i>Вардан Казарян. Прежде всего – чистый воздух.</i>	
<i>Публицистика Лнайт Саянян.....</i>	179

Журнал издается при поддержке государства

Альберт НАЛБАНДЯН

Главный редактор

Сергей МУРАДЯН

Заместитель главного редактора

Жанна ШАХНАЗАРЯН

Отдел прозы

Ирина МАРКАРЯН

Отдел очерка и публицистики

Ваагн Давтян
БЕЗ НАЗВАНИЯ

Роман-воспоминание

Окончание

Перевод С.Товмасян

Устав за день от вереницы всевозможных впечатлений, по вечерам я поднимался к себе в номер и включал телевизор. Обычно я забирался в постель и, приглушив звук, оставлял только изображение...

Временами меня одолевала дрема, и я принимал за сон все, что происходило на экране.

Полуобнаженная девица натягивает тончайшие чулки на свои длинные, изящные ноги и улыбается... Улыбается так обворожительно, так многообещающе и зазывно, что кажется, будто улыбка ее предназначена только мне, будто красотка хочет сказать мне: вот если бы ты жил здесь, мы наверняка встретились бы с тобой и ты смог бы оценить красоту моих ног не на экране, а наяву... И все в той же полудреме мне почему-то вспоминается строка Нарекаци:

Не дай мне тучей стать – и дождем не пролиться...

И я в полусне веду безмолвный разговор с девицей: “Да, — говорю, — если бы я жил здесь, мы бы непременно встретились и я имел бы возможность долго любоваться твоими длинными, изящными ногами. Но видишь ли, милая девушка, живу я уже достаточно долго, и меня еще никто не убедил, что упоение достигнутой целью лучше, чем поиски и вечная погоня за ускользающей мечтой”.

Ее, должно быть, обидели мои слова, и она исчезла с экрана.

Потом начался какой-то фильм. Не стану описывать, что происходило на экране. Скажу только, что здесь было выставлено на всеобщее обозрение то, что между мужчиной и женщиной обычно происходит в четырех стенах. Затем эти парочки с чувст-

* Окончание. Начало в NN 3, 4, 2008 г., N 1, 2009 г.

вом глубокого удовлетворения улыбаются с экрана и всем своим видом словно говорят: а было бы неплохо, если б дорога привела тебя сюда, к нам, — посмотри, какая здесь царит свобода.

Но не успеваю я возразить этим потрепанным дамочкам и женоподобным кавалерам, как на экране уже взрываются бомбы, грохочут самолеты, трещат выстрелы и несутся танки... И пока я силюсь определить, что это за война идет на экране, появляется очередная красотка с ослепительной улыбкой и начинает применять бюстгальтер...

Что кроется за этой улыбкой? Она, должно быть, хочет сказать: видишь, как ужасна война? Но если б тебе довелось жить здесь, а не в другом мире, то вряд ли ты совсем еще желторотым юнцом попал бы в адское пекло, именуемое второй мировой войной.

Да, соглашаюсь я и вижу склоненное надо мной лицо матери...

Когда я вернулся из армии, в первую ночь моя мать не сомкнула глаз. То и дело склонялась надо мной, и губы ее шевелились. Я чувствовал: она молится своему Богу.

А я в ту ночь вспоминал Мишулина...

Младшего лейтенанта Анатолия Мишулина...

Когда мы пересекли границу Монголии, нас повезли в какую-то дальнюю степь и разместили в землянках. Это была небольшая войсковая часть отдельного противозенитного дивизиона. Меня определили во взвод младшего лейтенанта Анатолия Мишулина. Это был молодой русоволосый красавец с бородкой и усами — вылитый королевич из русских народных сказок.

Для новобранца особенно тяжелы первые дни службы, первые недели и месяцы. Строевая подготовка — это еще не самое страшное. Устаешь, изматываешься, но вынести можно... Ужасны были занятия, когда нас заставляли ползать. Написал “ползать” и подумал, что это, видимо, не точный военный термин... Отводили нас, значит, в песчаную степь и учили ползать “по-пластунски”... Звучала команда — ложись и ползи... Ползешь, ползешь и не дай бог где-нибудь сбиться... Тотчас же приказывают подняться на ноги, возвратиться назад и ползти снова, с исходной точки... И так без конца, пока не научишься ползти безупречно...

Я часто думал: а нужны ли нам вообще эти упражнения? Ведь мы же не пехотинцы. Мы — бойцы противозенитной артиллерии. Но нам возражали, мол, устав есть устав и солдату положено уметь делать все, в том числе и ползать должным образом...

У меня с собой были всего лишь две книги — томик стихов Терьяна и “Затонувший колокол” Гауптмана. Последнюю я получил от Геворга Эмина, когда меня забирали в армию. Он подарил мне ее прямо на вокзале, чтобы я не скучал в пути.

Как только выдавалась свободная минутка, я брал в руки то Терьяна, то Гауптмана.

Однажды, застав меня за чтением, Мишулин спросил, взглядевшись в книгу:

— Стихи читаешь?

— Да, — ответил я.

— А чьи это стихи?..

— Нашего армянского поэта Ваана Терьяна...

— Хороший поэт?..

— Отличный...

Взял книгу, полистал:

— Какие интересные буквы... Хороший поэт, говоришь?.. Да что я говорю, в противном случае ты вряд ли привез бы его с собой в Монголию... А ты бы не смог перевести для меня пару стихотворений?..

— Нет, вряд ли. С русского на армянский смогу, а наоборот — точно не справлюсь.

— Понятно.

Следующий раз он увидел у меня в руках Гауптмана.

— А это что за книга?..

— “Затонувший колокол”...

— На армянском?..

— Да...

— Значит, вы успели перевести даже Гауптмана?

— Давно. А также Шекспира, Толстого, Романа Роллана, Гюго... Сенкевича, Пушкина, Лермонтова — всех не перечечь...

— Интересный вы народ, как мало мы о вас знаем...

Потом посмотрел мне в глаза.

— Парень, а мне сдается, что ты и сам поэт.

Я кивнул.

— Так, так.

С тех пор моя солдатская жизнь стала намного легче. Во время полевых учений он не заставлял меня ползти, при каждом удобном случае отправлял дежурить на кухню.

А как-то раз во время занятий, когда мы разбирали затвор зенитного орудия, чтобы затем снова собрать, он вдруг оставил все и обратился к нам:

— Ребята, а хотите я прочту вам стихотворение?

Конечно, мы хотели. Да и кто не предпочел бы чтение стихов возле с затвором зенитного орудия!

*Ты жива еще, моя старушка?
Жив и я. Привет тебе, привет!..*

Дочитав последнюю строфу, обернулся ко мне. На меня нахлынула тоска, в глазах стояли слезы...

Подошел, похлопал по плечу...

На Смоленском фронте мы попали в окружение.

Бензин в тракторе весь вышел, и ствол орудия невозможно было сдвинуть с места.

— Как нам быть, товарищ младший лейтенант? — спросил сержант.

— Нам следует оставаться возле орудия и охранять его.

— Но бойцы остальных взводов разобрали свои орудия, бросили в реку, а сами ушли в леса.

— Я не знаю, как бойцы других взводов, но лично у меня нет такого приказа. Мы должны оставаться возле орудия.

— Но ведь вы здесь по чину самый старший. Кто может вам приказать?

— Я сам себе приказываю.

Когда стемнело, он назначил часового, а остальным велел лечь спать.

А утром мы обнаружили, что часового и след простыл. Вместе с ним исчезли и семь остальных солдат нашего взвода.

— Ну, Ваня, все ясно. Теперь перед нами стоит задача выбраться из окружения.

Вдоль берега Днепра скопились тысячи автомашин и танков. Немецкие бомбардировщики непрерывно кружили над единственным деревянным мостом. То и дело рвались снаряды. Из всех боевых машин только единицам удавалось проскочить через мост. На подступах к мосту стоял полковник с револьвером в руке и никого даже близко не подпускал к переправе.

— Плавать умеешь? — спросил Мишулин.

— Умею.

— Ну тогда пойдем, попробуем достать покрышки, привяжем к ним оружие, обмундирование и переплывем реку. Авось удастся прорвать кольцо и присоединиться к нашим.

Так и сделали.

Переплывая реку, мы наткнулись на какой-то ящик.

— Давай вытащим на берег, — сказал Мишулин, — посмотрим, что в нем.

В ящике оказалось сливочное масло.

— Какая-никакая еда, пригодится.

Мы наполнили маслом все миски и флаги, что имелись у нас, и двинулись в путь.

Около двух недель мы блуждали по белорусским лесам.

В деревнях сидели фашисты.

По ночам мы подбирались к полям, выкапывали мелкие, не больше желудя, картофелины. Варили и ели, сдобрив маслом.

Но вот беда... У нас не было соли. От пресного масла к горлу подкатывала тошнота...

После демобилизации я лет двадцать не мог даже смотреть на масло.

Несколько лет тому назад, когда вышел в свет четырехтомник истории Великой Отечественной войны, я досконально изучил карту тех дней и был поражен: оказывается, мы с младшим лейтенантом Мишулиным вырвались из окружения, двигаясь по единственной узенькой тропинке, которую немцы не успели перекрывать.

Судьба, предопределение или случайность?..

Из всей дивизии только сто двадцать семь человек смогли вырваться из кольца окружения. Потом была сформирована новая воинская часть, на этот раз — противотанковая. В солдатской среде противотанковые подразделения назывались “Прощай, Отечество”, потому что артиллеристы первыми принимали на себя удар противника.

Мишулин взял меня в свой взвод.

Наши позиции были расположены на развалинах кирпичного завода.

Не успел я прийти в себя после того обморожения, как немцы перешли в яростное наступление.

Снаряд разорвался прямо возле нашего орудия.

Мишулин, оказавшийся рядом со мной, сразу же повалил меня на землю и прикрыл своим телом.

Когда я поднялся, Мишулин лежал неподвижно, лицом вниз. На спине у него зияло огромное черное отверстие. Наверное, этот раскаленный осколок снаряда предназначался мне.

В первую ночь после моей демобилизации мать не сомкнула глаз. Склонившись надо мной, что-то тихо шептала. Я чувствовал — она молится своему Богу...

— Мама, помолись за младшего лейтенанта Анатолия Мишулина...

В ту ночь мать до самого утра не отходила от моего ложа, а мне в полусне представлялся удаляющийся поезд и я сам, бегущий вдоль товарного состава...

Поезд несется, а я, застегивая на ходу брюки, стараюсь дотянуться до рук, протянутых ко мне из открытых дверей вагонов. Касаюсь чьих-то рук, но не могу удержаться, срываюсь...

Поезд несется, а снег очень глубок, ноги вязнут в сугробах, и я не могу бежать в полную силу...

Поезд несется, вот-вот мимо меня промчится последний вагон, и я, без шинели, с непокрытой головой, останусь один-одинешенек в заснеженной русской степи...

...Наш воинский эшелон вдруг неожиданно остановился в открытой степи.

Все высыпали из вагонов, спеша справить нужду на чистом снегу...

Я, повинувшись своей дурацкой стыдливости, отошел от вагонов дальше всех остальных...

Вдруг поезд так же внезапно сорвался с места и, набирая ход, помчался по заснеженной степи...

Поезд несется, и я бегу вдоль вагонов...

Поезд несется, а я проваливаюсь в снег, вскакиваю и продолжаю бежать...

Я не могу ухватиться за руки, протянутые ко мне из открытых дверей вагонов. Стоит мне коснуться чьей-то руки, как я, не в силах удержаться, тут же срываюсь...

Проснулся весь в холодном поту в то самое мгновение, когда стоящий на площадке последнего вагона старичок в тулупе, сопровождающий эшелона, изловчился схватить меня за руку и втащить наверх...

— Эх, эх, солдатик, ведь до ближайшей станции очень далеко, ты бы замерз, пропал в открытой степи...

Затем он с головой укрывает меня своим тулупом, приговаривая:

— Ну, отогревайся...

Мама, помолись и за этого безымянного старичка в тулупе...

И еще одна душа, мама, о которой я ничего тебе не рассказывал и не просил никогда за нее помолиться...

И хотя я посвятил ей стихотворение, но желал бы и здесь рассказать о ней, поскольку стихи читают лишь единицы, а прозу — если и не все, то многие.

Вот как это было. Усталые, озябшие, страшно измотанные, вошли мы в какую-то русскую деревню. По-зимнему холодный, ясный воздух был пропитан дымом, стоявшим над крышами занесенных снегом бревенчатых избушек.

Солдат распределили по дворам на ночлег. Мы вчетвером подошли к одному из домов и постучались.

Прошло немало времени, прежде чем послышались шаги.

В дверях показалась женщина с лампой в руках.

— Входите, входите, бедные вы мои, озябли небось...

Она провела нас в комнату. При свете лампы я успел заметить, что она молода и красива.

Пышные золотистые волосы ниспадали на белоснежные плечи, едва прикрытые нательной сорочкой. Стоило ей слегка наклониться, как широкий разрез открывал подступы к ее упругой полной груди.

Я опускал глаза, старался не смотреть на нее. Во мне зашевелились глухие инстинкты.

Потом мы достали из вещевых мешков припасы — кто чем богат: хлеб, колбасу, сало, консервы, а она поставила на стол бутылку мутноватой водки.

Выпила с нами, закусила, хохотала до упаду, и простодушный смех ее был звонче хрусталя.

Сначала она постелила моим спутникам, затем обернулась ко мне:

— Ты, смугленький, видать с юга, никак не согреешься, поднимайся на печку, залезай под шубу.

Пока она убирала со стола, мои товарищи забылись глубоким сном.

Я не мог заснуть, меня не отпускала дрожь.

Она погасила лампу.

Белая сорочка замелькала в темноте, я успел заметить, что она взбирается на печку.

Вскоре она оказалась рядом со мной, под шубой.

— Смугленький мой, как же ты озяб...

И сжала меня в объятиях.

— Ты ведь еще не знал женщин, так ведь?..

— Не знал, — прошептал я в ответ, весь дрожа.

— Так я и знала. Ты сгорал со стыда, отводил от меня глаза.

От нее исходил смешанный аромат яблок, весеннего утра, пшеничного поля.

Она прижала меня к своей горячей груди, она осыпала меня щедрыми ласками, одарила сполна всем тем, что женщина может дать мужчине...

Потом зашептала мне в ухо:

— Бедненький мальчик, ты ведь мог погибнуть, ничего в жизни не узнав, не изведав женских ласк...

Нет, мама, она была другая, не из тех, кого ты всегда поминала недобрим словом.

То была Женщина, то была сама доброта в женском обличье.

И поскольку я не мог обо всем этом рассказать своей матери и попросить, чтобы она помолилась за нее, — я сам в полусне возблагодарил Бога за ту женщину, за ее тело, пахнувшее весенним утром, яблоками, пшеницей...

И я мысленно обратился к той девушке, что примеряла бюстгальтер. Она вновь появилась на экране после ужасных военных кадров и словно говорила мне, что, живи я здесь, мне не пришлось бы в столь юном возрасте очутиться в гуще ада, называемого войной.

“Да, возможно... Война эта, жестокая, ужасная, бесчеловечная, вспыхнула и, принимая все более чудовищные формы, свирепствовала не без тайного потворства вашей страны. Я дал бы многое, чтобы ее не было вовсе и чтобы мне не пришлось пройти через этот ад. Но именно там я узнал настоящую цену человеческой доброты и милосердия, именно там я понял, что любовь обладает большим могуществом, чем смерть...”

Я поглощен безмолвной беседой с девушкой, примеряющей бюстгальтер. И вдруг на экране невесть откуда появляется Мишулин, этот златокудрый, голубоглазый молодец из русских народных сказок... Он улыбается, затем неожиданно поворачивается, а на спине у него — огромное кровавое отверстие... Я закрываю глаза, а когда открываю снова, вижу на экране верзилу с лоснящимися губами. С блаженной улыбкой он уплетает здоровенный кусок мяса.

И я хочу сказать этому толстогубому, что я не променяю кусочек нашего ошаканского лаваша, напоминающего по вкусу просфиру, и ломтик зангезурского сыра, напитанного цветочными ароматами, на их прославленный стейк, — но верзила исчезает, и на экране появляется роскошный особняк с бассейном, обставленный шикарной мебелью. Перед воротами выстроилась целая вереница дорогих автомобилей. Дом окружен прекрасным

садом, растительность которого, по всей вероятности, сработана из синтетики...

И еще я хотел бы сказать, что, правда, моему ереванскому особняку далеко до такой роскоши и он обставлен простой мебелью, да и выстроен ценой больших усилий и горьких лишений, но деревья в нашем саду посажены рукой моей матери и каждый раз, срывая с них плоды, я чувствую тепло ее рук...

Да, если бы я волею судьбы оказался здесь, то, возможно, успел бы обзавестись шикарным особняком с роскошной обстановкой, а также вереницей автомобилей, но мне не довелось бы испытать чувство того священного трепета, который пронзает меня всякий раз, когда я вхожу в высеченный в скале Гегардский храм...

И мне наверняка не довелось бы испытать те чувства удивления и восторга, которые я, колеся по дорогам Армении, испытываю всегда при виде изящных очертаний церквушки, затерянной, подобно святой отшельнице, в каком-нибудь неведомом ущелье, или прекрасного храма, вдруг встающего передо мной на склоне какой-то горы, или необыкновенной красоты хачкара, выглядывающего из зарослей колючего кустарника.

Невелика Армения, но в каждую мою поездку я открываю что-то новое: пещеры, в которых посверкивают всевозможными цветами самоцветные камни, древние, заросшие мхом надгробия, надписи которых говорят со мной на языке древних манускриптов. В ущельях мне попадаются старые мельницы со следами муки на жерновах — сохранившимися до сегодняшних дней приметами благочестивой жизни наших предков... Нахожу источники чистой, прозрачной как слеза, воды, в которых резвятся стайки красноперых рыбок... Брожу по дну глубоких ущелий, наблюдая за звездами, не гаснущими даже днем.

Возможно, я и здесь не остался бы чужд творчеству, сочинял стихи на английском, которые издавались бы мизерными тиражами. Но вряд ли моя скорбь, мои страдания, мой свет, добытый в горниле тяжких мук, смогли бы тронуть кого-нибудь.

Как-то осенью я гостил в доме у знакомого в одном из сел Шамшадинского района. Утром следующего дня, когда мы уже собирались покинуть деревню, дорогу нам преградил молодой человек. Он стоял как вкопанный, не давая нам проехать, и заставил нас выйти из машины...

— Я не отпускаю вас до тех пор, пока вы не согласитесь зайти к нам и выпить стаканчик вина.

Откуда ему стало известно, что я заехал к ним в деревню погостить?

Стол уже был накрыт. Я произнес тост, благословив этот дом, мы выпили, после чего молодой человек позвал мать и передал ей мой пустой стакан со словами:

— Мама, сохрани этот стакан как святыню. Из него пил Ваагн Давтян...

Парень этот был не филологом и не преподавателем литературы. Он оказался простым водителем, который обожал поэзию.

Никакие особняки с шикарной обстановкой, машины и счета в банке не компенсировали бы мне то чувство, которым одарил меня однажды ранним утром тот шамшадинский парень...

В другой раз, проезжая по извилистой дороге мимо рыжих егегнадзорских скал, я заметил одинокое деревце, один-единственный можжевельниковый куст, выросший на голых камнях... Ни земли, ни воды... Как ему удалось пустить корни? Откуда добывал он живительные соки?.. Я остановил машину и подошел поближе.

Я глаз не мог оторвать от этого дерева, от его затверделого как сталь, звенящего ствола, от его набрякших, словно вены, корней... Я смотрел на него как замороженный, пытаюсь осмыслить виденное. Для меня это дерево превратилось в некий символ, воплотивший трудную судьбу и несгибаемую волю моего народа.

Мимо по шоссе проходил мальчик лет десяти-одиннадцати. Я окликнул его.

— Скажи, милый, как называется это дерево?

— Разве ты не знаешь? Это можжевельник...

Затем он пошел своей дорогой, с удивлением оглядываясь.

Не помню, в каком из городов Южной Америки это было.

На краю тротуара возвышалось дерево. Казалось, оно каким-то чудом выросло из бетона и асфальта.

То было удивительное дерево.

Его большие темно-синие цветы сливались с синевой неба — и не поймешь, где кончается одно и начинается другое.

Казалось, будто дерево своими ветвями сорвало с неба лоскутки сини и разукрасило себя, разметав излишки по асфальту.

Я спросил у своих спутников:

— Как называется это дерево?

Они с удивлением переглянулись и пожали плечами.

Остановив какого-то американца, они спросили его о том же.

Он уставился на дерево и после долгого молчания так же, как и мои соотечественники, пожал плечами.

Остановили другого. То же самое.

Мне невольно подумалось, что это безымянное создание чуждо не только моим соотечественникам, но и местным жителям.

Оно было достоянием туземцев. Но они исчезли, и вместе с ними исчезло, забылось не только имя дерева, но и все относящиеся к нему легенды и сказания. Оно осиротело, и никому до него не было никакого дела...

У меня было два пути, и один из них мог в свое время привести меня сюда...

И я, как мои соотечественники, прошел бы мимо прекрасного этого дерева, даже не заметив его.

И можжевельник, выросший на голых камнях Вайкского ущелья, не стал бы для меня живым воплощением несгибаемой воли.

И вряд ли я когда-нибудь испытал бы тот священный трепет, который охватывает меня каждый раз, как только я переступаю порог высеченного в скале Гегардского храма и вижу на его стене дивное изображение двух львов.

И я разминулся бы с той затерявшейся на дне оврага мельницей, на жерновах которой сохранились следы муки — живые приметы благочестивой жизни наших предков.

И не жила бы во мне память о тех синих ереванских ночах, когда мы с Рафиком Ованесяном бродили до самого утра и вели долгие беседы, вслушиваясь в таинственный шелест наирийских тополей и в журчание бегущих вдоль тротуаров звонких ручьев. Мы говорили о любви, о Чаренце, о Маари и Бакунце.

И поскольку к утру, после ночных блужданий у нас разгорался зверский аппетит, мы едва дожидались открытия пекарни, чтобы насладиться теплым душистым лавашом...

Знаете ли вы, что ереванский лаваш, испеченный ранним утром, имеет особый вкус? Его лучше всего есть без сыра, без зелени и уж конечно без колбасы. Чтобы ощутить настоящий аромат этого хлеба, надо запивать его свежей холодной водой.

Возле автотрассы, ведущей из Еревана в Ширак, лежат развалины средневекового караван-сарая. Каждый раз, проезжая мимо, я сворачиваю с дороги, чтобы побыть немного среди развалин. Здесь передо мной встают видения... Я вижу себя за одним столом, где делят трапезу армянские купцы, прибывшие из Индии, Китая. Они направляются в город Ани, а некоторые — еще дальше, на запад. Их башмаки покрыты пылью нескончаемых дорог... Вижу я там полногрудых, крутобедрых армянок, грациозно танцующих под громкую музыку гусанов. Они не опускают стыд-

ливо глаза, наоборот — прекрасно владея искусством соблазна, они пускают в ход все свои чары в надежде заманить в свои сети молодых орлов.

Для меня нет ничего дороже этих призрачных видений, этих грез.

В них мое богатство, источник моих страданий, моей нескончаемой боли.

Вы, наверное, поняли с первых страниц моей книги, что жизнь давалась мне нелегко.

Но я не жалею. Жизнь, лишённая забот, поверхностна и бессодержательна.

Боль возвышает человека. Мне дано было испытать такую боль. Судьба подарила мне синеглазый цветок. Я нашел его в ущелье близ Гарни. Он родился из слез, исторгнутых камнями...

Простите меня, мои родные, мои милые соотечественники. Я не имел ни малейшего желания вас в чем-то упрекнуть. Нет вашей вины в том, что все так сложилось. Я лишь благодарю providение за то, что волею случая мне было суждено пустить корни на родной земле. Мне повезло, что я смог перебраться из Старого Арабкира в Новый. Еще подростком я тесал камни и лепил кирпичи для постройки собственного дома. Я спускался в Разданское ущелье за саженцами. Они окрепли в моем саду и превратились в огромные тутовые деревья... Мне выпало большое счастье: я жил со своими соотечественниками, моя жизнь протекала в соответствии с устоями и обычаями, принятыми в их среде. Мне выпало редкое счастье: я коротал долгие зимние ночи, слушая легенды и сказки, которые сложили еще наши предки... Мне выпало счастье делить с ними горе и радость... радости было больше...

Это было. Было в дивный летний вечер. Седрак-ага с Геворком-ага, примостившись возле стены, играли в нарды, а мы, подростки, сбившись в кучу, наблюдали за их игрой, нет, не игрой, а скорее трагикомедией.

Они приходились друг другу свояками.

Геворк-ага был небольшого роста и отличался свирепым нравом. Нижнее веко его, воспаленное докрасна, безжизненно отвисало.

Седрак-ага был долговяз, держался с большим достоинством, не выходил из себя. Иногда в глазах его мелькали запряженные глубоко озорные искорки...

В один из таких вечеров, расположившись поудобнее, они принялись играть в нарды.

Геворку-ага не повезло, и Седрак-ага тут же принялся подтрунивать над ним:

— Геворк-ага, твой зар опять стащил у черта башмаки...

— А ты погоди, еще неизвестно, чей зар надел чертовы башмаки...

Седрак-ага метнул кости — ду шеш, самое счастливое парное число, а Геворку-ага опять не повезло. Он разразился крепким ругательством, несколько раз повторив турецкое словечко “кяшмиш”, которое я никогда прежде не слышал...

— Полно злиться, Геворк-ага, каков промысел, такова и добыча...

— Так значит, я не умею играть?!

— Конечно умеешь, да только все у тебя выходит наоборот... Гляди, на этот раз у тебя ду беш, ну на что он тебе?.. Сам видишь — твоих надежд он не оправдал...

Тут Геворк-ага весь вскипел от ярости, грозился разнести в щепки нарды... поскольку этим своим “ду беш” Седрак-ага намекал на какое-то тонкое обстоятельство.

В те дни в Арабкире произошло одно знаменательное событие.

На арабкирской текстильной фабрике, что находилась неподалеку от Канакерской ГЭС, появились молодые русские работницы.

Возвращаясь с ночной смены, Геворк-ага подкараулил одну из них и, предложив две пятирублевки (ду беш), бог весть на каком языке умолял ее не отказать ему...

Злые языки утверждали, что девушка не только надавала почтенному Геворку-ага пощечин, но и пожаловалась на него куда следует...

Представьте — один Геворк-ага на целый Арабкир и одно чрезвычайное происшествие...

Слух разросся, вышел из берегов, поползли разговоры по всему Арабкиру...

Козет, знаменитая на весь Арабкир сочинительница, даже сложила про этот случай сатирический айрен... Я успел позабыть его, хотя когда-то знал назубок. Впрочем, было бы достаточно небольших филологических изысканий, чтобы спасти от забвения этот айрен, способный и сейчас заблистать прежними красками.

И вот, в ту самую минуту, когда Геворк-ага весь затрясся от сокрушительной ярости, его костяшки замерли на доске в такой великолепной комбинации, что угасшая была надежда разгорелась с новой силой...

Позабыв мигом обо всех своих несчастьях, Геворк-ага радостно потирал руки.

— Ликует сердечко, ликует, — слышался ехидный голос Седрака-ага, — а не рано ли трубить победу?

Нетрудно было догадаться, что он хочет дожидаться удачной комбинации и перехватить инициативу, заблокировав все ходы Геворка-ага.

Так оно и случилось. И пока Геворк-ага с нетерпением ерзал на своем стульчике, Седрак-ага вел игру не торопясь и по ходу рассказывал:

— Иду я поутру в магазин, а навстречу — Хазикян. Остановил меня и...

У этого самого Хазикяна было целых две клички: “адвокат” и “цилиндр”... Первую он получил в 1936-м, после репатриации. На вопрос, чем он занимался в Париже, какое у него было ремесло, он ответил с необыкновенной гордостью: “Я адвокат”. Для проживавших в Армении арабкирцев это понятие давным-давно утратило свой подлинный смысл, превратившись во что-то потешное. Вот уже и готова кличка... А с “цилиндром” было и того проще. В Арабкире никто такой шляпы не носил, а в Ереване — единицы. Разве могли арабкирцы упустить такую блестящую возможность присвоить одному человеку сразу две клички!

Работал он письмоводителем в одном из ереванских судов. Сказать, что он был горячим защитником правопорядка — значит ничего не сказать. Он преклонялся перед законом — вот это больше похоже на правду. Преданный до фанатизма, он был воплощением правопорядка...

Вот этот самый Хазикян и поймал Седрака-ага, решив напичкать его с утра пораньше своими премудростями и нравоучениями...

— Ты, Седрак-ага, человек почтенный, уважаемый. Скажи мне, ну разве я не прав?..

— Прав...

— Не имею разве права?

— Имеешь...

— Разве так детей воспитывают?

— Конечно не так.

— Они мне проходу не дают, обзывают “адвокатом” и разбегают-ся... Разве в профессии адвоката есть что-то предосудительное?..

— Ничего предосудительного...

— Не мешало бы родителям толковать своим детям, что адвокат — это не кто иной, как защитник закона. Значит, дело его — одно из самых благородных.

- Наверное, им трудно объяснить это детям.
- Но это необходимо!..
- Безусловно.
- А как прикажешь понимать: то “адвокатом” обзывают, то “цилиндром”... Что такого особенного в цилиндре? Вся Европа носит...
- Где Европа и цилиндры, а где эта бедная ребятня...
- А родители на что? Пусть они им объяснят, что вся Европа носит цилиндры...
- Хазикян, откуда знать родителям? Ведь они тоже не бывали в Европе...
- А как же мой цилиндр?!
- Так ведь он же один-единственный...
- Приятель, да ведь на одну голову больше одного цилиндра не наденешь...
- А ты бы надел сразу несколько.
- ...Вижу, — продолжает Седрак-ага, что мне от него не избавиться. А тут как раз Газар-ага мимо проходил... Я его и окликнул... Газар-ага, — кричу, — подойди-ка поближе... Он подошел, а я ему: “Газар-ага, ты тут побеседуй с Хазикяном, а мне надо отлучиться ненадолго, у меня есть небольшое дельце, но я мигом вернусь...” И давай бог ноги... — Цо, — обернулся вдруг Седрак-ага к одному из нас, — ты что, не видишь, что Геворк-ага скучает? Позови-ка адвоката, пусть малость побеседуют...
- Но в эту минуту случилось нечто невероятное. От Геворк-ага начал валить густой дым. Сначала мы не поняли, в чем дело, но вскоре догадались. Это были еще довоенные годы, и в магазинах свободно продавались спички. Но Геворг-ага предпочитал курить, пользуясь допотопным методом. Он достал дрожащими руками огниво, высек искру, зажег очередную неизменную сигарку и положил огниво обратно в карман. От волнения он, видимо, забыл прикрутить фитиль, и внезапно от его одежды повалил густой черный дым...
- Конечно, мы тут же сбегали за водой, и вскоре телу Геворк-ага уже ничто не угрожало, но пламя его душевных мук разгоралось все сильнее.
- Наконец, терпение его лопнуло. Вскочив на ноги, он пинком опрокинул нарды и пригрозил:
- Седрак-ага, я никогда больше не буду играть с тобой в нарды...
- Будешь, будешь, Геворк-ага, еще как будешь. Завтра же ни свет ни заря прибежишь ко мне: давай-ка кинем кости.

И в самом деле, едва дождавшись следующего утра, Геворкага был тут как тут:

— Седрак-ага, давай-ка метнем кости...

Из памяти моей всплывает другая картина: сидим мы с ребятами вечерком на крылечке детского сада. На горизонте показывается Тумиканц Ваан и направляется к нам. От улыбки рот растянут до ушей.

— Эй, ребятки, послушайте-ка, что я вам расскажу. Ну, вы знаете, что вчера Акоп-ага скончался. Пойду, думаю, на поминки, посижу малость.

Жена его, Майрени-ханум, так плакала над ним, убивалась, что я сам чуть не заплакал...

“Муженек мой, бесценный муженек, да разве кто сравнится с тобой?! Ты у меня был что Андраник-паша”.

Цо, да ведь все мы знаем, что бедный Акоп-ага мочился под себя. Нашла с кем сравнивать...

Но это еще не все...

“Муженек мой бесценный, муженек несравненный... Какие орехи ты привозил из Харберда, какие сладости!.. И мясо привозил, и потроха, и пряности...”

Но и это еще не все...

“Муженек мой, муженек. Часики золотые и браслет к нему золотой”.

Тут лицо Марецы-ханум, сестры Акопа-ага, пошло пятнами: “Как же так?! У брата были золотые часы с цепочкой, а я ничего об этом не знала? Кому же они достанутся?”

“Ахчи, так у моего брата были золотые часы с браслетом?”

“Нет, сестрица, он только собирался купить”.

Я еле ноги унес, чтоб не прыснуть со смеху...

Кто знает, для чего нужны были Майрени-ханум эти жалкие уловки? Зачем она с ходу выдумала золотые часы с браслетом? Чтобы приписать мужу дополнительные достоинства или просто хотела по злобе подразнить золовку?

И пошел гулять слух по всему Арабкиру: “Не было, сестрица, не было, он только хотел купить”.

Передавали из уст в уста, смеялись, потешались арабкирцы...

Неслыханная трагедия разыгралась в Арабкире.

Амбарцум-ага был состоятельный человек почтенного возраста и безобразной внешности — крохотные глазки, крупный нос, изрытое оспой лицо. Случилось так, что он влюбился в бог

весть откуда взявшуюся в нашем городе рыженькую и смазливую молоденькую шляпницу.

Ходил к ней под любым предлогом, заказал несметное количество всяких шляп и в конце концов взвалил на себя тяжкое бремя подозрений, а затем достоверных фактов, ставших известными его супруге Сирануш-ханум и всем остальным арабкирцам.

Но Амбарум-ага, похоже, крепко влюбился в рыженькую дамочку, а та так же крепко привязалась к его рыженьким монетам.

И вот в безмятежный покой летнего дня ворвалась ужасная весть...

Сирануш-ханум покончила с собой, бросившись в Зангу...

Труп нашли с большим трудом. Его унесло течением довольно далеко.

Во время похорон шел мелкий дождик.

Амбарцум-ага шагал за гробом, без конца повторяя одну и ту же фразу:

— Плачьте, женщины, плачьте, природа тоже плачет над ней...

И вновь появляется Тумиканц Ваан. Он уже издали улыбается: значит, ему есть что сказать.

— Ребята, вы не представляете, что я видел сегодня утром...

Жена Мамаса-ага уселась посреди дороги и разговаривала с собакой...

Вот как было дело: Айкануш-ханум, одна из самых уважаемых в Арабкире женщин, отправляясь на фабрику, всегда брала с собой кусок хлеба, мясные объедки или еще что-то в этом роде, потому что каждый раз дорогу ей преграждал огромный пес и с угрожающим рычанием предъявлял свои требования.

В тот день она оставила дома паек, и обманутый в своих ожиданиях волкодав набросился на бедную женщину. Она немедленно присела, зная, что на сидящего человека собака не нападает.

— Я стоял невдалеке за стеной и наблюдал за ней, — продолжает рассказывать Ваан.

“Слушай, пес, чтоб моему Мамасу-ага пусто было, если я что-то прячу от тебя”...

Как видно, эти клятвенные заверения не произвели на собаку никакого впечатления.

“Слушай, пес, завтра я принесу тебе огромный кусок мяса, досыта накормлю, теревджур сварю для тебя, хотя вряд ли тебе понравится теревджур. Я тебе лучше сварю тжвжик”...

Но, как видно, и эти обещания не помогли ей задобрить собаку, и та продолжала свою тиранию.

Тут ее терпение лопнуло, и она стала осыпать собаку гневными угрозами: “Слушай, пес, мой Мамас-ага всем собакам собака, так что тебе не сдобровать, если я ему пожалуюсь на тебя”.

Но и эти угрозы не возымели действия. И долго, долго сидели они друг против друга — собака и всеми уважаемая жена Мамаса-ага. А Тумиканц Ваан наблюдал за ними издалека, чтобы пополнить свой так называемый “репертуар”.

— Мне ее стало жалко. Я прогнал собаку, надавав ей пинков.

— Аман, Ваан, это ты?..

— Да, Айкануш-ханум, это я...

— Какой же ты молодчина, выручил меня...

Потом с опаской смотрит на него:

— Цо, Ваан, а ты давно тут стоишь?..

— Да, очень давно...

— Аман, Ваан, ради всего святого, я тебя знаю, ты всем уши прожужжишь, посмешищем меня сделаешь.

— Что ты, Айкануш-ханум, ни одна душа не узнает...

Как видите, он свято сдержал свое слово...

И пошло гулять по всему Арабкиру: “Слушай, пес, мой Мамас-ага всем собакам собака...”

И снова Ваан:

— Ребята, а я гостил у Воштвоштов...

— Что еще за Воштвошты?..

— Зашел я вечером к Гарнику, хотел поиграть с ним в нарды... А они с женой как раз ребенка спать укладывают... Тот хнычет, все никак не засыпает... Гарник жене и говорит: оставайся тут, а я выйду за дверь, немного полаю. Ты сделай вид, что прогоняешь собаку: “Вошт, вошт”. Дитя испугается, заснет, а мы с Вааном сыграем в нарды...

Так и сделали... И стали они с тех пор Воштвоштами...

И пристала дурацкая эта кличка к бедным супругам...

— Ребята, а вы слышали, что стряслось с Софьей-ханум?..

Это опять Ваан.

— Позвали ее к соседям сушить эришту (лапшу). Пришла, закрыла за собой дверь и стала раздеваться... Сняла юбку, сняла сорочку, хотела было снять и белье, но тут женщины спохватились:

— Господь с тобой, Софья-ханум! Да ты в своем уме?! Что ты делаешь?

— Ой, сестрицы, призадумалась я, а тут уйма народу... Мне и подумалось, что я в предбаннике...

Вот какие бывают дела.
Он знал целый ворох таких историй.

И вот здесь, в царстве стекла, бетона и асфальта, в лабиринтах гигантских небоскребов, продуваемых холодными ветрами, я невольно задаюсь вопросом: а нельзя ли было в свое время построить Арабкир подальше от Еревана? Может быть, тогда этот своеобразный мир, в котором хранились нравы и обычаи Старого Арабкира, не превратился бы в безликий городской район? Может, удалось бы сохранить неповторимый говор араб-кирцев и хотя бы часть вековых традиций?

В последнее время об этом заговорили в определенных ереванских кругах.

Автомобиль медленно скользит по бостонским улицам. Вдруг я вижу перед собой гигантское здание. На его огромной стене изображена огромная женщина с необъятной грудью.

— Что это за реклама?

— Здесь будет выступать женщина с самой большой в мире грудью. Хочешь, пойдем посмотрим?..

— Нет, — отрезаю я, — в Армении тоже немало женщин с большой грудью. Когда, где они успели сравнить все груди и решить, что эта — самая большая...

Проезжаем мимо какого-то банка.

— Потолки в одном из залов сделаны из чистого золота. Зайдем, посмотрим?..

— Нет, — отвечаю я, — хотя в Армении и нет банков с золотыми потолками, но я бы предпочел проехать мимо...

— Здесь поблизости есть одно место. Бросаешь всего один доллар в кассу автомата, открывается окошко, и в нем танцует совершенно голая красавица... Время не ограничено, смотри сколько хочешь...

— Нет, не хочется...

— Ну как же, брат, добраться до самой Америки и упустить возможность посмотреть все это!.. А что бы ты хотел увидеть?

— Мне бы хотелось встретиться с Амастехом...

Мои спутники в недоумении переглядываются:

— Но ведь Амастех в шестьдесят шестом...

— Знаю, знаю...

— Ты, должно быть, хочешь посетить его могилу?..

— Нет, кладбище не самое подходящее место для встречи с Амастехом...

— Так что же ты хочешь?

— А нельзя ли поехать за город, к полям и рощам, к зеленому раздолью?.. Если, конечно, есть здесь поблизости поля и рощи...

Машина набирает скорость. Я закрываю глаза и вижу деревенского паренька. Ему суждено было пережить геноцид, и теперь он, босиком, как Иисус, шагает по океанским водам, направляясь к далеким берегам... Он взял с собой все то, что было ему дорого в родном селе Перчендж Харбердского уезда... С ним его апостолы: Тапан Маркар и Мизо, Пилик-ахпар, Кар-аму, Чало... Да, да, и Чало апостол, да еще самый верный...

Очутившись в далекой стране, он воскрешает живописный образ далекого села, утопавшего в зелени плачущих ив, и поселяется в нем вместе со своими апостолами: Тапан Маркаром и Мизо, Пилик-ахпаром, Кар-аму и Чало... Но живут они там только по ночам...

Днем трудится в типографии — выполняет изнурительную работу наборщика, глотая свинцовую пыль, осваивает профессию цинкографа, но... как только наступает ночь, он оказывается в родном селе, где всегда светит солнце, и в тени плакучих ив ведет долгие беседы с Пилик-ахпаром:

“Скажи, Пилик-ахпар, как тебе удается найти с животными общий язык? Они безошибочно узнают твои шаги, твой голос...

Пилик-ахпар, а как получается, что, как только ты заходишь в хлев, кони испускают ржанье, похожее на звонкий, радостный смех, и в знак ликования порываются встать на дыбы... А мул настораживается, следя за каждым твоим движением.

Пилик-ахпар, зачем ты так горько и безутешно плачешь, когда какое-нибудь животное испускает дух?..”

“Э, почему я знаю”, — коротко отвечает Пилик-ахпар.

Не получив ответа от Пилик-ахпара, он обращается к какому-то неведомому тоскующему духу:

“Я слышу тебя в шуме дождя, дарящего влагу изнывающим от зноя слэбным полям... Ты приносишь счастье в каждый дом и стелешь благодатный дым над мирными кровлями. Мечты и грезы, рожденные тобой, витают над жилищами, пропитанными густым ароматом теплого хлеба. Тобою дышит улыбка младенца... Ты даришь людям праздники обильного урожая.

Благодаря тебе просыпаются поля и ждут сеятеля. Ты таишься в каждой горстке семени, что загорелый сеятель бросает в лоно земли, где нежные ростки наливаются силой и расстилаются лучами золотистых колосьев”.

Дни его проходили в стенах типографии, пропитанных запахом свинца, где он, одержимый все тем же неведомым духом, изнывая от мучительной тоски, обращался к собаке по кличке Чало:

“Завтра я сошью себе одежду и смастерю обувь из козьей шкуры. Завтра я отправлюсь в осенний лес и добуду длинный сук, чтоб сделать из него дорожный посох... Я не стану запирать двери моего одинокого жилища: пусть в нем гуляют ветры и рыщут дикие шакалы... Мы отправимся в путь — ты и я... Мы найдем дорогу, которая приведет нас к развалинам родного села... Мы отправимся перед восходом солнца и будем смотреть на небо, сверяя по звездам наш путь... Мы будем вдвоем — ты и я.

...Сердце пронзит ужасная боль, как только передо мной откроются развалины родного села... С истерзанной душой встану я возле столба, одиноко возвышающегося над маслобойней, и запою. И прекрасная эта песнь зазвучит с небывалой силой. Ее услышат мои сородичи, развеянные по всему свету, и потянутся сюда...”

Такими же мыслями и переживаниями, видимо, был полон и Кар-аму, стоя у заводского станка, когда жестоко покалечился, не успев убрать руку от лопасти огромного колеса...

— Сам виноват, куда он смотрел? — говорили многие из соотечественников...

Дорогой Амастех, в 1966-м году на вечере, посвященном твоему семидесятилетию, ты в своей речи заговорил о селе Перчендж и так разволновался, что случилось непоправимое — сердце твое не выдержало.

Среди твоих земляков наверняка нашлись такие, кто произнес примерно те же слова:

— Сам виноват, стоило ли так волноваться?

Я открываю глаза.

— Ну как? Встретился с Амастехом?

— Да, я видел его ясно, как живого...

Мои спутники улыбаются.

— Может, сходим все-таки в кабаре?

— Нет, сейчас мы поедем ко мне в отель, я хочу вас угостить армянским коньяком. Мы выпьем за Амастеха, за упокой его души...

В моем архиве сохранилось письмо Амастеха, которое он написал мне в декабре 1965 года, когда я был главным редактором газеты “Айреники дзайн”. Письмо довольно длинное, и потому я привожу здесь только отрывок.

“Дорогой Ваагн Давтян, мне доставляет огромное удовольствие читать вашу газету. Я уверен, что она играет немалую роль в тех благотворных процессах, что происходят сейчас в Армении. Лучшего названия нельзя было придумать. “Голос Отечества”... Думаю, что это голос всей нашей земли... Это голос народа, голос полей и лесов, рек и высоких скал... Он крепнет и набирает силу. Вы дерзнули разбудить спящий колокол, и теперь его зов разливается гигантскими волнами и проникает в душу каждого армянина, живущего на родине или далеко за ее пределами...

Силы, поддерживающие наш народ, не приходят извне. Их рождает родная земля. Колокол не звучит на чужбине.

Сейчас наша родина переживает подъем. И мы можем радоваться ее успехам. Нас необыкновенно воодушевляют ее достижения в области науки и литературы. Мы гордимся тем, что Ереван спроектирован в лучших традициях армянского зодчества. Мы спокойны за будущее нашего народа, потому что молодое поколение свято чтит наши национальные и духовные святыни.

Свернуть с этого пути было бы непростительной ошибкой”...

Мне вспомнилась вчерашняя торжественная вечеринка. Там была женщина, разодетая в пух и прах, которая недавно переехала из Еревана. Там был мужчина, которого я угостил ереванской сигаретой. “Фу, какая гадость!” — сказал он и демонстративно выкинул ее. Было там несколько человек, обливающих грязью нашу страну. Вспомнилось еще многое другое... И я обратился к своим спутникам:

— Поедем ко мне в отель и распечатаем бутылку ереванского коньяка. Выпьем за Амастеха, душа которого до сих пор не знает покоя...

- Давайте проведем этот вечер в стриптиз-баре...
- Нет, брат, я уже сыт по горло заведениями такого рода...
- Но это совершенно другой стриптиз...
- Какой другой?
- Поэтический...
- То есть...
- Она не только раздевается, но и декламирует стихи...
- Но я ведь не владею английским...
- Я постараюсь перевести... Кроме того, этими стихами написаны все стены... Для рекламы... Это будет несложно пересказать тебе...

...На сцену выходит девушка, похожая на прекрасную русалку. Она медленно раздевается. Оставшись в одном бюстгальтере, она начинает декламировать.

Мой спутник переводит:

*Я была русалкой
В синих и теплых волнах моря,
Я пела, и мой голос
Был чарующей мелодией
Сладкозвучной арфы...
Я пленяла своим голосом моряков,
И корабли сворачивали с пути
И подплывали ко мне...
Суровые, обожженные солнцем мореходы,
В чьих бородах сверкал изумруд водорослей,
А в глазах – неугасимый пламень страсти,
Молили меня о любви
И, стоя на палубе,
Плакали крупными и солеными слезами.
И говорят, что морская вода до сих пор
Солона от их слез...*

На миг она умолкла и расстегнула бюстгальтер:

*Не знаю, что в мире случилось,
Какая жестокая буря моря всколыхнула,
Но волны выбросили меня на берег...
А на берегу был лютый холод,
Огромные каменные дома,
Копоть и пыль...
Люди вечно спешили, не знаю куда,
И никто меня не замечал...
Я пела, но никто не слышал мой голос...*

— Ну как? — спрашивает мой спутник, — хорошие стихи?..
— Неплохие, — отвечаю я...

*И вот я перед вами, нагая,
Мне холодно, и нет уже тех суровых,
Обожженных солнцем мореходов,
Что стояли на палубах кораблей
С пыляющими страстью глазами...
Вам туманит глаза алкоголь,
И нет никого, кто погладит мне руку,*

*И нет никого, кто погладит мне косы,
И нет любви... Только зелень
Долларов у меня под ногами...*

Я слушал стихи, которые читала прекрасная как русалка обнаженная девушка и вспоминал Чаренца:

*Как наяды, как томные сонмы наяд,
Вновь тоскующим голосом кличет куда-то,
Обещая любовь с избытком услад,
По себе оставляя лишь боль и утрату.*

*Сколько дней я провел, протянул по песку!
Годы в красных пустынях текли, иссякая...
Верил я: за мою ухватившись тоску,
Ждет меня неустанно моя Навзикая...*

*И в годах невозвратных, ушедших в песок,
Я тону, замечтавшись... И, не отпуская,
Ты в тоску мою жадно вцепилась... Не смог
Я расстаться с тобою... Ты ждешь, Навзикая* ...*

Я смотрел на обнаженную девушку, и она казалась мне Навзикаей, о которой мечтал Чаренц, Навзикаей, которая вечно звала его нежным, как свирель, голосом. Поэт неустанно следовал за ней, но она всегда ускользала...

Сколько лет прошло с тех пор, как Чаренц написал эти строки?..
Лет пятьдесят, не более...

И как так случилось, что за такой короткий промежуток времени из морских пучин были выброшены вон все наяды и русалки...

И как за этот короткий промежуток времени армия мертвых вещей повела грандиозное наступление! И какими немощными оказались перед ней любовь и грезы, душа и непостижимые тайны духа!..

Но ты, выброшенная на берег русалка, оказалась лучшей из всех стриптизерш (с какой неохотой произношу я это слово). Потому что ты все еще способна сложить песню... А песня дается лишь тому, у кого еще жива душа... и хотя песня твоя уныла и безнадежна, но всякая, даже самая горестная песня обладает удивительным свойством противостоять унынию и безнадежности...

* Перевод М.Синельникова.

Перед выходом из кабарэ мой спутник спросил:

— Ну как, приятель, ты доволен?..

— Мне грустно, приятель...

— И это после такого прекрасного вечера?..

— Мне, приятель, ужасно грустно после такого прекрасного вечера...

— Почему?..

— Не знаю...

И вдруг я вижу, как наяву, выброшенные на берег озера Карасунь почерневшие тельца золотистых рыбок. Они, задыхаясь, бьются о черный от мазута прибрежный песок. На месте этого краснодарского озера сейчас разросся огромный сад.

Был когда-то никчемный лентяй и бездельник по имени Хачатур. Целыми днями валялся он возле мельницы, поджидая посетителей. Выклянчит горсть муки и зажарит себе лепешку. Так и жил изо дня в день.

Разгневанный Бог послал своего ангела. Тот предстал перед Хачатуром и молвил:

— Живи честным трудом, постарайся искупить свои грехи, а не то я прилечу за твоей душой через пять лет.

— Ладно, — сказал Хачатур. Он опять разлегся возле мельницы, размышляя о том, что у него еще есть время искупить грехи и попасть в рай.

Прошло четыре года. Вот уж пятый на исходе. В сердце Хачатура поселилась тревога.

Дай, думает, вместо своего имени возьму себе другое, арабское, вымажу лицо сажей и убегу в страну арабов. Тем более, что там, говорят, золото и серебро, изумруды и жемчуг грудами лежат посреди улицы — бери сколько хочешь, ешь, пей, веселись.

Сказано — сделано. Вымазал лицо сажей, нахлобучил на голову красную феску и направился в арабские страны.

Навстречу ему идет ангел в облике человека. Представ перед Хачатуром, он спрашивает:

— Куда путь держишь, братец Хачатур?..

Тот как ни в чем не бывало отвечает ему по-арабски:

— Ашта хул сади (я не знаю тебя), эш дахул, дохул — то есть, чего тебе от меня нужно?..

Ангел говорит на это:

— Значит, так, братец Хачатур, поскольку ты не захотел попасть в рай с чистым лицом, отправляйся-ка теперь в ад с черным лицом...

И вот я встречаю этого самого Хачатура в Лос-Анжелесе...

Само собой разумеется, что это был не тот, средневековый Хачатур, а его современный двойник.

Я был поражен: что он здесь делает?

Я встретил его в доме одного из знакомых американцев. Он обедал в одиночестве на краю стола.

Я знал его еще в Ереване как отъявленного бездельника. Его основным занятием были похороны. Разузнав об очередном покойнике, он присоединился к похоронной процессии и затем вместе со всеми садился за стол справлять поминки. Ясно, что в такую минуту вряд ли кто-то станет выяснять, кто есть кто... Между тем он ел и пил в свое удовольствие, даже произносил поминальные тосты, перечисляя достоинства усопшего, и уходил весьма довольный.

Так он поступал почти каждый день.

Но как ему удалось попасть в Америку, почему он сюда приехал? И что здесь-то ему делать?

Когда хозяйка вышла из комнаты, я спросил:

— Как ты попал сюда, Хачатур?.. Что ты здесь делаешь?..

— Я не Хачатур, меня зовут Бабкен.

— Все равно, как ты здесь очутился?..

— И не спрашивай...

Он рассказал мне, что познакомился в Москве с еврейкой, женился на ней, сменил фамилию (как тот Хачатур) и под именем еврея добрался до Америки. Должно быть, жена вскоре раскусила его. Она бесследно исчезла, как только они очутились в аэропорту Лос-Анжелеса.

И остался Хачатур один-одинешенек. К тому же он не владел английским языком.

— А что, разве там, в аэропорту не валялись доллары?

Он взглянул на меня с жалким укором и промолчал.

Я не стал интересоваться тем, как ему удалось найти соотечественников. Мне было неинтересно и то, чем он сейчас занимается. Собирать объедки с чужого стола — вот основной род его занятий.

Я только спросил:

— Хачатур, а здесь принято устраивать поминки?

— Нет, к сожалению, этот обычай здесь отсутствует.

Я едва удержался от того, чтоб не повторить ему слова средневекового ангела: “Так вот, братец Хачатур, не захотел ты трудиться на родной земле и с чистым лицом попасть в рай, значит, придется тебе идти в ад с черным лицом...”

Я не поддался желанию — наверное, совесть не позволила.

Пару месяцев назад на ереванских улицах передо мной, кажется, промелькнул его призрак.

Мне захотелось догнать его и расспросить о том, когда и зачем он вернулся. Но он, видимо, заметил меня и поспешил скрыться...

В Америке во время какой-то встречи меня спросили:

— Как вы относитесь к эмиграции?.. Ведь ее последствия отрицательно сказываются на численности населения Армении.

— Да, количество людей чуть-чуть уменьшается, но зато повышается качество...

И вот этот очередной Хачатур, отсидевший тюремный срок, послал знакомым письмо, где между прочим были угрозы в мой адрес: “Здесь, в Америке, ему следует держать язык за зубами...”

Должно быть, мои слова о качестве он отнес на свой счет.

И правильно сделал.

В тот вечер я гостил в одном из богатых и шикарных домов Лос-Анжелеса. Блистая нарядами, по залам разгуливала моя бывшая приятельница, переехавшая сюда из Еревана. Она не только не скрывала, но, наоборот, всячески подчеркивала, что мы слишком хорошо знали друг друга. Она то и дело заливалась смехом, все смеялась и смеялась. Подсев ко мне, она продолжала смеяться и говорила, имея в виду роскошь, царящую вокруг:

— Было бы хорошо иметь все это там, в Ереване, тогда незачем было бы добираться сюда.

Она взяла меня под руку и, демонстрируя всем свои усыпанные бриллиантами перстни, без конца повторяла:

— Здесь всего этого никто не замечает... Другое дело — там, в Ереване...

Она подавала мне тарелки, наполненные всякими яствами с банкетного стола “а ля фуршет”, и не переставала повторять:

— Все это должно было быть в Ереване...

— Ты помнишь, — спросил я, — тот теплый весенний день, когда мы с тобой взяли бутылку вина, немного свежего хлеба с сыром и зеленью и отправились в Звартноц?..

— Да, я прекрасно помню тот день...

— А помнишь те пригретые солнцем камни, на которых мы разложили нашу нехитрую еду и выпили вино?..

— Помню.

— А здесь ты ела что-нибудь вкуснее того хлеба с сыром и зеленью?..

Она призадумалась и ответила с тихой грустью:

— Нет, не ела...

И вся вспыхнула, озаренная светом того незабвенного дня.

Пригретые солнцем камни, теплый ветерок, смешанный с благоуханием окрестных садов и жар ее тела...

— В тот день ты вся излучала тепло... — тихо произнес я...

— Меня согревало тепло твоих рук...

И не произнесла больше ни слова... В роскошных залах перестал звучать ее звонкий смех.

Вообще-то в жизни наибольшего интереса заслуживает то, что отличается неповторимой самобытностью... Это касается не только произведений искусства и художественной литературы. Место проживания также должно иметь свое лицо... Конечно, в те годы, когда гениальный Александр Таманян работал над проектом Нового Арабкира, ему и в голову не могло прийти, что очень скоро, в недалеком будущем, город направит свои тяжелые каменные шаги к Канакерским холмам и железными лапами навалится на Арабкир. Что сотрутся из памяти быт и наречие, песни и сказки, легенды и пословицы — все то, что накапливалось веками и свято хранилось в годы гонений и переселений...

Только в Арабкире пекли хлеб “тойни”. Он во многом отличался от обычного лаваша...

Несколько лет назад ушел из жизни последний старожил, умевший печь “тойни”, и навсегда унес с собой тайну этого замечательного хлеба...

Эришта, которую готовили в Арабкире, тоже была не совсем обычной. Уж нет в живых и того прославленного умельца, что месил лучшее тесто для эришты. Он был последний, кто владел этим искусством (я не оговорился: это не что иное, как искусство!)...

Некоторые блюда, к примеру “севукджур”, уже никто не готовит...

И только моя теща иногда стряпает “хасурду”, которую я обожаю с детства...

Какой-то судья, желая похвастать перед коллегами дружбой со знаменитым писателем, часто приглашал на застолья одного из моих друзей...

Как-то я спросил своего друга, чем его угощают во время этих застолий...

— Да нет у них никакого воображения! Каждый раз хоровец да хашлама, хашлама да хоровец... Видеть не могу...

Увы, наверное, скоро наступит время, когда будут позабыты многие блюда нашей деревенской кухни, блюда, пропитанные целым букетом разнообразнейших ароматов. И останутся лишь хоровец да хашлама, хашлама да хоровец...

Но все это о хлебе насущном...

А что сказать о духовной пище?..

Нет больше в живых ни Козет, ни Астхик-ханум. Это были замечательные исполнительницы айренов и шуточных куплетов. И никто (в том числе и я) не удосужился в свое время записать на магнитофон или хотя бы сохранить тексты этих изумительных образцов песенного творчества, дошедших до нас из глубины веков.

Моя мать знала много сказок. Она рассказывала их мне, когда я был ребенком, а потом, годы спустя — моим детям. Одна из них — “Киснук ахпар” — мне особенно нравилась. Мне никогда больше не приходилось встречать аналогов той замечательной сказки. Откладывая со дня на день, я по глупости так и не записал, и мать навсегда унесла ее с собой.

А молодое поколение арабкирцев не проявляет никакого интереса ни к сказкам, ни к пословицам, ни даже к характерным выражениям арабкирского наречия. Но ведь каждое наше слово обладает неповторимым колоритом и выразительностью...

И только Тумиканц Ваан продолжает свято хранить сокровищницу всевозможных историй и смешных прибауток. Но ведь это возможно до поры, до времени...

В предвоенные и первые послевоенные годы все это еще продолжало жить. Арабкир утопал в прекрасных садах, над тандырами вился голубоватый дымок, гумна были полны молотым зерном. Ведь арабкирцы по собственному почину возделывали близлежащие поля и выращивали на них прекрасную пшеницу. На кровлях продолжали сушить пастилу, варили сусло. Дождем свисали гроздьи эришты. Тогда еще собирались вечерами на посиделки, журчал мелодичный арабкирский говор. Смешная история сопровождалась взрывами хохота. Со вздохом вспоминали минувшие дни и подкрепляли свои рассуждения мудрыми изречениями.

Но настал день, когда кому-то пришла в голову не самая блестящая мысль принести все это в жертву алюминиевому заводу. Повалил густой дым, сокрушивший Арабкир, и наступило отчуждение...

Люди переживали глубокое отчуждение...

Правда, небольшая часть Арабкира уцелела, сохранились маленькие сады. И это благодаря тому, что были приняты меры против заводского дыма... Но это уже далеко не то...

И вот здесь, в этом бездумном царстве бетона, железа, стекла и асфальта мои мысли приобретают особую остроту и терзают невыносимой болью. Здесь, в этом громадном лабиринте небоскребов, от которых веет ужасным холодом, люди кажутся оторванными друг от друга, уносимыми ветром пылинками...

Бессонными ночами я с ужасом думаю о том, что, возможно, это холодное отчуждение, перелетев через просторы Атлантики, доберется когда-нибудь и до нас.

Я многое отдал бы за то, чтобы место для застройки Нового Арабкира оказалось подальше от Еревана. Тогда, возможно, город не поглотит полностью этот самобытный мир.

Я знаю в Армении много таких поселений, о которых можно рассказывать часами...

Недалеко от Арзни находится ущелье, по дну которого течет Раздан. Это место живо напоминает мне Евфрат, каким он остался в моих детских видениях.

На диких склонах того ущелья растут одинокие деревья, вонзившие корни в расщелины скал дикие орешины. Весной на фоне рыжеватых камней вспыхивают белоснежные соцветия шиповника. А осенью обилие крупных, горящих ярким огнем его плодов позволяет сделать внушительные запасы на всю зиму. (Замечу, что осенний шиповник имеет у арабкирцев особое название...) В расселинах, между камнями зеленеет буйная поросль чабреца. А какие дивные соленья получают из беловатого корня обыкновенной колючки! Они ничем не уступают каперсам, которые также в изобилии растут в этих местах... В глубине пещер живут еще не разгаданные тайны. Когда наступает ночь, ущелье покрывается густой синеватой пеленой, а журчание речной струи так похоже на звон волшебного звездопада.

Вот в этом или каком-нибудь другом ущелье (таких уголков в маленькой Армении великое множество) и должен был находиться Арабкир. А как же завод?.. Что ж, арабкирцы были потомственными ткачами, и им ничего не стоило освоить новые технологии ткацкого ремесла... Но арабкирцы были также и умелыми садоводами, и их поселок утопал бы в дивных садах, они бы сеяли и пшеницу, и над их кровлями вился бы голубоватый дымок... И летними вечерами звучали бы в каком-нибудь саду айрены, и их подхватывали бы и продолжали другие...

И не запирали бы арабкирцы дверей, как это было в предвоенные годы, и нашелся бы один-единственный несмышленный воришка, рискнувший войти в чужой дом, как это случилось в те же предвоенные годы. И единственный на весь большой поселок милиционер зевал бы от безделья в своей конторе, потому что никому не пришло бы в голову отдать ему несмышленного воришку, по глупости залезшего в чужой дом. Они бы просто взяли с него честное слово, что такое больше не повторится... И тот непременно сдержал бы свое слово...

Так жили у нас когда-то...

Так живут до сих пор в селе Верин Саснашен...

Каждый раз, отправляясь в чужие края, во мне наряду с предвкушением радости познания новых миров жило предвкушение радостного ожидания скорого возвращения домой.

Находясь на чужбине, я считал дни, томясь от желания поскорее оказаться дома. Меня не смог удержать даже Париж, из которого я уехал на девять дней раньше указанного в визе срока... И не было предела удивлению моих парижских знакомых:

— Да ведь другие, брат, сил не жалеют, чтобы остаться здесь подольше, а ты не хочешь воспользоваться даже тем, что полагается тебе по праву...

— Нет, довольно, я уже побывал везде, где хотел, поеду домой...

Вот и сейчас, засыпая, я с нетерпением считаю дни, оставшиеся до конца нашего путешествия, когда я наконец доберусь до Филадельфии, увижусь с двоюродным братом Мкртычем и смогу вернуться домой...

И я принимаю решение, что сразу по возвращении домой, на следующий же день я возьму машину и поеду прямо в Талинский район, в село Верин Саснашен, где живут выходцы из Сасуна. У меня там нет родственников, но есть много близких друзей...

К тому времени там уже наступит весна, оттепель... Со стороны Арагаца подует ветер. Он принесет с собой еле ощутимый аромат дикого шиповника, взметнет водяную пыль грохочущих водопадов... Я почувствую мощное дыхание проснувшейся горы, вдохну глоток воздуха, освеженного прохладой озера, напоенного горней слезой... Пробуждающаяся от зимнего сна природа будет вторить радостным эхом резвящимся на зеленой траве детям. Они, перебивая друг друга, перечислят мне названия всех цветов и помогут отличить съедобные травы от несъедобных...

Я пройду по свежеспаханному полю, наблюдая за тем, как желтобрюхие пташки с усердием ищут что-то во влажной бороз-

де и, найдя желаемое, радостно воспаряют в голубые просторы, чтобы в вышине насладиться своей безмолвной радостью...

Всего один раз довелось мне побывать в той деревне. Прошлой весной мне необходимо было встретиться с учителем истории Геворком Акоюном.

С помощью расспросов я нашел его дом. Навстречу мне вышла молодая женщина. Она низко поклонилась и поцеловала мне руку...

Так испокон веков поступали в Ергире... Да, в Армении еще сохранились села, где молодые невестки и женщины припадают к руке пришедшего в их дом незнакомого мужчины...

К сожалению, хозяин дома, Геворк Акоюн, отсутствовал. Он проходил курс лечения в Джермуке. Я уже хотел было вернуться, пообещав молодой хозяйке зайти в следующий раз, но эта хрупкая, миниатюрная скромная женщина с не совсем обычным именем Антика (Несравненная), проявив неожиданное упорство, крепко схватила меня за руки и усадила за стол. Я сперва опешил, но затем от души расхохотался...

— Да где же это видано, — вскричала Антика, — чтобы уйти, не успев даже перешагнуть за порог! Ведь у армян не принято так, — упрекнула меня эта восхитительная горянка, чье редкое имя так не подходило к ее милой безыскусственной внешности.

И тут в доме поднялась какая-то неслышная суета. Антика что-то шептала детям на ухо и посылала с поручениями.

Немного погодя я услышал со двора бляение закалываемого барашка.

Пришли сестры хозяйки.

Пришел здоровенный мужчина, которого все называли крестным.

Пришли детишки. Почти все — голубоглазые, русоволосые... Пристроившись рядышком возле стены, они спели “Герани”, спели “Зартнир, лао”, спели “Келе, лао, келе эртанк мер Ергир”...

Как сладок был лаваш, что пекли в Верин Саснашене!

Как сладко звучали чистые и звонкие детские голоса!

Как я упивался сладкозвучной сасунской речью!

Как смиренно улыбалась Антика!

И каким беспросветным ужасом повеяло от того, что рассказал нам крестный.

— Почти все наши односельчане, что родились и выросли в Сасуне, перед смертью сходили с ума от тоски по безвозвратно потерянной родине.

И он перечисляет всех поименно:

- Чахркац Тамо – умер, лишившись рассудка...
 - Колозка Мушо – умер, лишившись рассудка...
 - Джгу Аракел – умер, лишившись рассудка...
 - Осмка Геворг – умер, лишившись рассудка...
 - То же самое произошло и с дядей Антика, уста Мануком.
- На дворе стояла весна, оттепель... Он вернулся с поля, прилег и запел песню, которую мы никогда раньше не слышали:

Келе, лао, келе ертанк мер Ергир...

Потом затих, поднялся и, как был раздетый, в одной сорочке, вышел во двор. Зачерпнув горстями мокрую от подтаявшего снега землю с подснежниками, он продолжил прерванную песнь и зашагал по открытому полю...

Шагал по полю обезумевший могучий старик, и никто не мог остановить его. Он испустил дух, упав посреди борозды – в одной ладони цветы, а в другой подтаявший снег...

И вот сейчас я лежу без сна в номере американского отеля и представляю грозную поступь могучего старика, слышу его хриплый обезумевший голос. Я вижу, как он шагает по влажному от талого снега полю, как он падает на землю, устремив взор в сторону далеких гор.

Я непременно поеду в село Верин Саснашен. Отправлюсь туда на следующий же день, как только вернусь домой.

Он был высокого роста, мускулистый, со свирепым лицом. На нем была длинная белая ряса, на лысой голове – терновый венок. Я сразу же про себя окрестил его Апостолом.

В одной руке он держал огромное ярко-красное яблоко, а в другой – плакат с изображением черепа.

Торжественной походкой проходил он неспешно сквозь толпу и, поднявшись на возвышение, начинал говорить... Я просил своих спутников перевести – мне было интересно каждое его слово.

– Послушайте, люди! Куда вы несетесь сломя голову, боясь не успеть?! Разве вы не чувствуете, что вас ждет? – Он поднял над головой плакат с изображением черепа. – Вы накопили столько ненависти, что иного будущего вам не дано...

Глаза его при этом горели необычным огнем, а лицо принимало выражение суровой надменности, свойственной крайним фанатикам.

- Это безумие, – сказал один из моих спутников.
- Кто безумен?! Он или мы? – не выдержал я.

Мой спутник, взглянув на меня, промолчал.

— В ваших бетонных бункерах спрячутся чудовищные демоны, демоны смерти. Как только они высунут наружу свои носы, все в мире сгорит и превратится в пепел. Небеса исторгнут черный дождь. Он будет длиться сто дней, он все сметет с лица земли, не оставит ни одного живого ростка. И некому будет поведать о том, что здесь когда-то была прекрасная зеленая планета... Ложь, одна только ложь, не останется даже макак, издевающихся над людской глупостью. Не будет даже ворон, выклевывающих помутневшие глаза мертвецов, даже крыс, глодающих трупы... А вы, сильные мира сего, не тешьте себя надеждой, что подземные дворцы спасут вас от всего этого. Надежды нет!.. Смертельное излучение достигнет вас и там, выпьет всю вашу кровь и иссушит семя... Не надейтесь когда-нибудь выйти из своих бетонных могил на воздух, на солнце, к морю, к горячему пляжному песку...

Он перевел дух и, помолчав немного, убрал плакат с черепом. Затем поднял другую руку, в которой держал большое ярко-красное яблоко...

— А это яблоко? Посмотрите, как оно красиво — яркое, как солнце, и круглое, как наша планета... Оно впитало в себя щедрую благодать земли и сладость горячего солнца... Благодаря этому яблоку прозрели Адам и Ева. Они смогли разглядеть красоту окружающего мира и собственную красоту... Благодаря ему Адам полюбил тяжкий труд земледельца, а Ева познала блаженство родильных мук...

Послушайте, люди, сильные мира сего преднамеренно запугивают вас. Они внушают вам чувство неотвратимой опасности, желая опустошить ваш мозг и обескровить тело. Но ведь там, где царствуют террор и насилие, человек не может быть свободным и прекрасным, возвышенным и чистым... Этот ужас преследует всех вас, вы убегаете от него, несетесь куда-то на своих шикарных автомобилях, на поездах и самолетах. Вы стремитесь урвать где-нибудь самый лакомый кусок и сожрать его... В мире, где нет подлинной свободы, царствует насилие и торжествует разврат... Посмотрите на хиппи, что валяются у лестниц, возле стен... Поверьте мне, они стали такими из-за безнадежности, из-за беспросветного ужаса... Заставьте себя хоть раз взглянуть на них, посмотрите: то, что испокон веков было принято скрывать от чужих глаз, они делают на виду у всех... Но ведь это убивает прекрасное, убивает любовь... Взгляните! Там, под лестницей корчатся в предсмертных судорогах последние Ромео и Джульетта...

Люди замедляли шаги, прислушиваясь к тому, что он говорил, а затем с равнодушным видом проходили мимо, ускоряли шаг, бежали, спешили, словно их влекла какая-то неведомая цель...

Жаль, что я не говорю на английском — мне так хотелось подойти к этому человеку с вопросом:

— Известно ли тебе, Апостол, почему я оказался здесь?

— Нет, — ответил бы он, — откуда мне знать?

— Я не местный, я приехал из Армении, чтобы повидаться со своими родственниками. Вам приходилось слышать об Армении?

— Да, я слышал кое-что, ведь здесь живет немало армян...

— А знаешь ли ты, почему здесь так много армян?..

Он ответил бы примерно так:

— Наверняка потому, что Америка — страна богатая. Она привлекает многих, мы все здесь — приезжие...

— Нет, — возразил бы я, — моим соотечественникам нравилось жить в своей древней горной стране, они предпочли бы никогда не расставаться с Ваном и Мушем, Битлисом и Сасуном, Ани и Арабкиром... Это была дивная, прекрасная страна, где наверняка когда-то находился земной рай... Они предпочли бы возделывать весной свои поля под дружные трели жаворонков, а летом — косить траву. Теплыми ночами под светом луны они бы поливали свои сады, распевая старинные песни, грустные, нежные, гениальные песни... Будь на то их воля, они продолжали бы жить там, на своей земле. И никогда не приехали бы сюда, не работали бы на ваших заводах, превращающих людей в автоматы, не занимались бы торговлей, не наживали бы миллионы...

— Зачем же они оставили этот рай? — с удивлением спросил бы он...

— Апостол, я вряд ли смогу тебе это объяснить. Видишь ли, мне больно об этом говорить. Я сам схожу с ума, когда слушаю рассказы очевидцев. Когда читаю об этом, надолго пропадает сон... Я могу только сказать, что с моим народом произошло примерно то же, что произойдет со всем остальным миром, если демоны смерти вдруг высунут свои носы из бетонных бункеров... Когда рушился наш мир, твои соотечественники, так же как и сейчас, оставались равнодушными, проходили мимо, бежали, спешили к какой-то неведомой цели... Цель эта была не что иное, как доллар... Ваш президент Вильсон издали посылал слова соблазна и давал обещания... Но он не сделал ничего, чтобы предотвратить гибель миллионов...

— Когда это случилось?

— Неужели не знаешь, Апостол? В 1915-м.

— Я не виноват, я был тогда слишком мал...

Один из моих спутников, слегка коснувшись меня локтем, прервал эту безмолвную беседу...

— Послушай-ка, что он говорит, — и перевел мне следующее.

— Люди, я глубоко виноват перед вами, я виноват перед всем миром. Я был выдающимся ученым, участвовал в создании атомной и нейтронной бомб. А когда понял весь ужас того, что натворил, и порвал со всем этим, меня объявили сумасшедшим... Да, я безумец... И я призываю вас также порвать личину равнодушия, отбросить это ваше никчемное благоразумие и наполнить сердца яростью... Станьте безумцами, только им, только мудрым безумцам дано спасти это самое яблоко, яркое, как солнце, и круглое, как Земля...

Мы летим в Филадельфию, где должен состояться наш последний концерт. Затем мы отправимся на легковых автомобилях в Нью-Йорк, сядем на самолет и — прощай, Америка!

Наконец-то, наконец я увижу Мкртыча.

Я сгораю от любопытства: похож ли он на меня?

Говорит ли хоть немного по-армянски?

Известна ли ему история смерти нашего деда Мкртыча-ага?

А что он знает про нашу бабушку Ермонию-ханум?

Поинтересуется ли он у меня, как поживает его тетя, сестра отца?

Я не смогу поехать к нему домой — времени в обрез. Наверное, он сам зайдет ко мне за кулисы, и мы в горячем приветствии бросимся друг другу в объятия.

Уже объявили концерт. Я стою за кулисами в окружении племянников бабушки Ермонии — Ерванда, Тигрануи, Вардана и Тиграна.

Вокруг царит оживление, много незнакомых лиц...

— Но где же Мкртыч?..

— Должен скоро быть...

Я в беспокойстве зажигаю одну сигарету за другой.

— Господин Ваагн, вы слишком много курите, это вредно для здоровья...

— Знаю...

— А вот и тетушка Бюльбюль, жена твоего дяди.

Ко мне направляется пожилая женщина, довольно полная, с седыми волосами.

Она обнимает меня, целует, молча вытирая слезы.

— А Мкртыч, где же Мкртыч?!

— Мкртыч? — с удивлением переспрашивает она. — А кто это такой?..

— Твой сын Мкртыч...

— Ах, Мкртыч! Я же совсем забыла, мы зовем его Джонни!..

— Так где же Джонни?

— Джонни решил остаться дома, он немного простыл...

Меня охватил ужас. Я долго не мог прийти в себя.

“Нет, — подумал я, — Джонни не простыл. Он основательно замерз и превратился в лед”...

Сона Ван
Из книги “У МЕНЯ НЕТ ИМЕНИ”
Перевод К.Лазаревой

Дед мой...	все
был священником	любовные
	письма свои
он	держала
в Бога	в потрепанном
верил	Евангелии
с девяти	по очередности
утра	откровений
до шести	она
вечера	читала
	слово Божье
а после шести —	и письма
отдыхал	с одинаковым
	выраженьем
отец...	лица
был физиком	и
	обоим
он	она
с девяти до шести	верила
отвергал Бога	только...наполовину
а после шести	
тайно	судя
верил	по ее
тетя	таинственной

улыбке
 (через замочную щель)
 трудно было сказать
 кого
 предпочитала
 тетя
 для спасения...
 в этот день

у мамы
 (чуть не забыла)
 не было времени
 верить
 или

не верить
 она была всегда занята
 творением
 чего-то
 из ничего
 мама всегда была
 молчалива
 я...

унаследовала от деда
 дневную веру
 от отца вечернюю веру
 улыбку тети
 и мамины руки

...я
 в эти дни
 Бога
 ношу
 под рубашкой
 как горячий хлеб
 и раздаю
 кому попало

на нашей кухне
 большой
 деревянный таз
 всегда
 одинаково
 был залит
 тестом

мама
 будто
 из пальцев своих
 готовила тесто

или
 скорее всего
 тесто

будто
 метаморфоза
 маминых пальцев
 в деревянном тазу

мама...
 иногда
 пыталась стереть
 пот с лица
 и десять равных
 струй теста
 с пальцев мамы
 текли
 по ее лбу

папа говорил
 что
 из теста
 мама нас сделала
 и смеялся

мама молчала
 и продолжала
 из теста
 белых

ангелов вешать
на кончиках пальцев
мама...
клянусь
могла бы

шагать
по воде
если б смогла
руки
оторвать от теста...

ХРИСТОС НА КУХНЕ

Было обычное
утро
и
обычным
утром
как обычно
был потрясающим
первый
звонок

— алло?
это Сона?
хорошо меня слышишь?
Христос
говорит
и...
ты спасена

— я?...
Сона?...
спасена?
говоришь Христос?
(и в зеркале
напротив
поправляю прядь)
это Ты?
где Ты?..
и почему сегодня?

— да
это я
сегодня тот день

повернись говорю
отвори
дверь

— но... Христос
я не успела
прибраться
(и еще раз
пытаюсь поправить
ту же прядь)

ну ладно... э... ничего
открываю дверь

сам по себе
повернулся тяжелый ключ
в дверном замке

на столе моем...
превратилась в вино
вода
в стакане

неожиданно
вскрикнул чайник
как проснувшийся
в полудреме
ребенок

Господи...
с сахаром
любишь чай... или?...

не знаю почему такой веселой проснулась я сегодня	по губе моей и вскрикиваешь как увидевший впервые слепой
за мной выбор библейский	— как небесна ты! неужто так
захочу пройдуся захочу... взлечу	здорово проходят все дни в далеком раю?
земля легка как небо	что?... я небесна?
что делать теперь?	
как поступают слишком счастливые в подобных случаях?	как бесполой ангел из мультика я стрелой своей чешу себе спину и смотрю наверх
вместо ответа ты скользишь правым указательным пальцем	земля легче воздуха будто
по лбу носу	захочу взлечу...

ШЛЯПУ... ВЗЯТЬ?

интересно куда идут такие девушки как я которые не невинны и не очень порочны	какая интересно температура в далеких пригородах рая?
---	--

я так люблю	(не умеющие танцевать)
ту мелодию	придумывают танец
которая рождается	и другие
ритмичным	следуют за мной
повтором	
моих ошибок	я так люблю
	ту мелодию
так прекрасна	которая рождается
эта моя мелодия	ритмичным повтором
что ноги мои	моих нежных грехов

РОЖДЕСТВО

протягиваю руку	на землю
из окна	вот моя рука
и острые иглы	спустись на ладонь
белого снега	
опускаются на ладонь	я поймаю тебя
как острые шипы	с той же осторожностью
твоего изношенного	с которой отец мой
венца	доставал из коробки
	твое хрупкое тело
сегодня твой день	и осторожно
рожденья	ставил
	на
на нашей кухне	верхушку
на тесте	моей елки
приготовленном	
мамой	пальцы мамы моей
пылают	зажигают
две тысячи свечей	две тысячи свечей
а тебя все нет	
	в последний раз
достаточно... всё	протягиваю руку
хватит равнодушно	если хочешь
крошить свой венец	спустись на ладонь

Норайр Адалян
ВТОРАЯ СМЕРТЬ ЧИНОВНИКА

Рассказ

Перевод К.Халатовой

*Придя машинально домой,
не снимая вицмундира,
он лег на диван и... помер.*

Антон Чехов

На тот свет Гого Дургаряну рановато было отправляться, и с недавних пор он нет-нет да задумывался, а не выйти ли ему на пенсию, расстаться наконец с бременем должностных забот и наслаждаться безмятежной и счастливой старостью.

Когда мысль эта впервые подкралась к Дургаряну, его аж дрожь пробрала. Шутка ли: столько лет занимать руководящий пост, правда, не очень высокий, но и не такой уж незначительный, пользоваться в своем кругу уважением и почетом, владеть персональным креслом, письменным столом, секретаршей, пестрыми телефонами. Естественно, ему приходится склонять голову перед высшим начальством, как того требует иерархия подчинения, поддакивать и потакать их правде и кривде с одинаково любезной улыбкой. Однако его самого окружали подхалимы еще похлеще, которые являлись к нему за подписью и с разного рода служебными и личными просьбами. В беспокойном ожидании и даже со страхом они заискивающе заглядывали ему в глаза за стеклами очков или не сводили взгляда с его толстых губ. Так что не за горами тот день, когда — вот какая напасть! — он поневоле должен будет смириться с иным жизненным статусом.

Было у Гого Дургаряна золотое перо, к которому он питал особую, нежную любовь. Ручку он постоянно держал при себе, и на работе и дома, только ночью ненадолго расставался с нею, когда ложился спать и осторожно клал ее рядом с телефоном на небольшую тумбочку у кровати. Дургарян стал плохо спать. А прежде, как только голова касалась подушки, он отключался и его отрешенное от всех и вся бременное тело умиротворенно почи-

вало в потемках до самого утра. Но с недавних пор он беспокойно ворочался в постели, кряхтел-стонал, по три-четыре раза ходил в туалет, жевал сахар, запивая холодной водой, что ему было противопоказано. И ручка разделяла с ним ночные часы и сна и бессонницы.

Как-то Дургарян срочно должен был вылететь в Москву, и в последнюю минуту, впопыхах собирая чемодан, забыл прихватить ручку. В чужом городе он извелся без родимого пера, и когда брался за случайные ручки, допускал грубые ошибки, вплоть до смысловых и идеологических, подписывал бумаги, которые сбивали его с толку своим витиеватым слогом. Забывчивость Гого послужила ему уроком. Отныне куда бы он ни ездил, даже в санаторий подлечиться от болей в суставах и пояснице, перво-наперво брал ручку — как бы в спешке или по нелепой случайности ее не забыть.

Ручка безмолвно прислушивалась к хозяину, она заранее знала, какое слово он сейчас выведет, чутко угадывала и его гнев, и недовольство, и благодушное настроение. Бывало, когда кто-либо из просителей настырно обивал пороги его кабинета, досаждал просьбами, Гого, чтобы избавиться от посетителя, снимал с ручки золотой колпачок и, вопреки собственному желанию и принципам, готов был подмахнуть бумагу. В таких случаях кончик золотого пера расходился, раздваивался, царапал бумагу и, словно проглотив чернила, высыхал и безжизненно замирал, давая Гого возможность еще раз все хладнокровно взвесить. Не ручка, а прямо живой соавтор.

Стоило Дургаряну задуматься о пенсии, как он сразу вспоминал о ручке. Каково ей будет без него — засохнут чернила от безделья, и перо, хотя и золотое, заржавеет, придет в негодность, умрет медленной смертью. Гого болел за нее всей душой, он, пожалуй, ни к кому и никогда не относился с таким трепетом, как к своей ручке. А ему-то каково будет обходиться без ручки после стольких лет совместного существования? И тут Гого Дургарян принимался жалеть и себя тоже, что было испытанием еще более мучительным.

С уходом на пенсию Гого наверняка пришлось бы разлучиться не только с ручкой, но и с другими дорогими его сердцу привычками. Поэтому он и не спешил, не афишировал свои будущие планы, не посвящал в них даже подругу жизни Азнив* Алис.

* Азнив — честная.

Ее звали Алис, а красочный эпитет к имени придумал сам Гого, уверенный, что не сыскать человека честнее его жены, по крайней мере в столице. Грех было бы назвать ее красавицей, однако Гого, поглощенный перипетиями служебной карьеры, обнаружил топорные черты ее лица, грубый, хрипловатый, как у курильщика, голос довольно поздно, когда его супружеский стаж исчислялся уже долгими годами.

— Послушай, Гого, а ты не боишься, что твою красавицу Алис могут похитить? — иногда ни с того ни с сего, прервав серьезный разговор, шутил министр.

Гого Дургарян виновато улыбался и ежился, хотя в такие минуты готов был распать шефа. Вернувшись после этого к себе в кабинет, он с остервенением срывал свою обиду на подчиненных, унижая их человеческое достоинство, и те не смели и пикнуть. Один только раз кто-то возмущенно повысил голос, чем вызвал искреннее удивление Гого.

Он обладал силой власти, которая для многих была предметом зависти и враждебности, но ему собственная влияние порядком осточертела. Одним из завистников Дургаряна был молодой завхоз, который всегда держался с ним предупредительно вежливо и почтительно. Тем не менее завидовал и втайне целился на дургаряновское кресло. За короткий срок молодой человек сумел добиться расположения министра, стать его любимчиком и протее. За глаза поговаривали, что он крутит роман с его дочкой, старой девой, и они скоро поженятся. Ясное дело, не любовь вдохновляла его скрепить узы Гименея, а меркантильные притязания на кабинет Дургаряна. “Какое опасное поколение идет на смену, — с грустным возмущением думал Гого, — у меня и в мыслях не было никакой выгоды, когда я женился на Алис... Как мир испоганился... Мы были такими честными и наивными”.

Служебную “Волгу” он, можно сказать, предоставил в распоряжение Алис и своей не менее уродливой свояченицы, что страшно обрадовало обеих, а сам предпочитал ходить на своих на двоих. От дома до министерства можно было пройти за полчаса по окружности городского парка. Дургарян шел не спеша, былой уверенной поступью, расправив плечи и гордо подняв голову, не обращая внимания на прохожих, которые уже с утра выглядели унылыми и озабоченными. Но чем ближе подходил он к зданию министерства, тем медленнее становились его движения, спина гнибалась, руки повисали, точно плети, все тело скрючивалось от невидимой непосильной ноши. Последние шаги он

делал через силу, помимо своей воли, однако черные лакированные туфли вели его вверх по каменным ступенькам парадного подъезда, и всякий раз он чувствовал себя старой клячей, которую подталкивают, пинают, волокут на бойню.

Какое он испытывал блаженство, когда ровно в шесть запирает на ключ обитую кожей дверь кабинета, окидывая взглядом секретаршу, наводившую маршет перед зеркалом, потом шел по длинному тихому коридору и легко спускался по лестничной ковровой дорожке вниз. Не оглядываясь, он выходил на улицу, которая в час пик изнемогала от нескончаемого потока машин и от уставшей и издерганной толпы, спешащей с работы домой. В прохладных скверах старики играли в шашки, уплетали завернутые в старые газеты завтраки, покуривали или перебирали четки, вызывая у Гого добрую зависть. Разбившиеся на группки мужчины обсуждали национальные и политические проблемы, доказывали друг другу, что теперь, как и прежде, кругом обман и несправедливость, да и впредь ничего не изменится к лучшему. Они распалялись, ударяя себя в грудь и уверяя, что уж их собственной душой никто не осмелится распоряжаться. Гого так хотелось присоединиться к спорщикам, вставить слово — нельзя же, в самом деле, низвергать все и вся, совесть надо иметь; но он боялся, что его не поймут, да и галстук, пожалуй, помешает (он неизменно украшал его шею, как бы удостоверяя принадлежность Гого к рангу руководящих работников). Они бы вцепились в галстук и, чего доброго, в пылу страстей придушили бы Гого, уверенные, что он олицетворяет высшую власть и виновен во всех уже известных и пока еще скрываемых грехах. Дургарян то опасливо приближался к ним, то с сожалением отступал, с завистью думая, какие они свободные, смелые и независимые, не то что он, раб собственного галстука, сжимающего горло и не выпускающего его даже дома, словно Гого сам и есть галстук, а не человек вовсе.

Как-то Гого Дургарян, вернувшись домой, неожиданно для самого себя сказал Азнив Алис:

— Я ухожу на пенсию.

В характере Алис была замечательная черта: в самых сложных ситуациях она умела сдерживать и подавлять эмоции. У нее от слов мужа не подгорело жаркое, не рассыпалась соль, не выпала из рук и не разбилась тарелка, она ничего не упустила, сервируя стол, и сохранила беспристрастное, хладнокровное выражение лица. Они сели друг против друга обедать, и только после

того, как покончили с едой, Азнив Алис с напускным спокойствием и как бы между прочим поинтересовалась:

— Сам уходишь или отправляют?

— Сам ухожу, — раздраженно подтвердил Гого, уловив подвох в словах жены.

— Значит, не уйдешь, — еще спокойнее и твердо сказала Алис.

— Я сам решаю свою судьбу.

— Я тоже.

Чуть погодя Азнив Алис как ни в чем не бывало убрала со стола и с излишней церемонностью погрузилась в глубокое мягкое кресло перед телевизором. Показывали парижскую моду, а потом замелькали призывы-лозунги толпы демонстрантов, которые размахивали кулаками и требовали хлеба. Из соседней комнаты появился Гого.

— Что там происходит?

— Голодные, вот и выступают.

— Они не прочь будут и нас съесть.

— Весь этот шум устроен против властей, — сказала жена.

— Я тоже для них власть, и чем раньше уйду на пенсию, тем будет лучше для нас с тобой.

— Не волнуйся, тебя они не заметят.

— Они заметят вот этот галстук и возненавидят меня как представителя власти, — зароптал Гого, с трудом снимая галстук через голову. — Завтра пойду на работу без него, — и с гримасой отвращения, словно держал в руках змею, швырнул галстук в угол комнаты. — Тридцать лет эта удавка душит меня.

— И ничего, ведь не придушила, ты так аппетитно ешь и пьешь.

Гого Дургарян пришибленно посмотрел на жену.

— Завтра аккуратненько повяжешь галстук, сядешь в машину и поедешь на работу, и никому в голову не придет отправить тебя на пенсию, — сказала жена и, понизив голос, добавила: — Ты еще молод... с твоей энергией еще столько дел можно переделать.

Гого нежно улыбнулся, его мужское самолюбие было польщено: жена вечно была им недовольна и он впервые слышал от нее похвалу. Разъяренная толпа на экране уже выстроилась в бесконечную очередь, молчаливо и покорно дожидаясь, когда подвезут хлеб. Народ убедили, что главное — не отчаиваться, а хлеб рано или поздно будет.

— Я давно хотел поделиться с тобой своими планами, — сказал Гого. — В один прекрасный день все уходят на пенсию.

— Какой ужас, — с горечью произнесла Азнив Азиз и поежилась.

— Ужасна смерть, а нас с тобой ждет мирная и счастливая жизнь.

— Сидя дома, ты быстро состаришься.

— Буду делать утреннюю гимнастику.

— От малейшего сквозняка начнешь чихать.

— Хотя раз ты видела меня чихающим, даже в самые крепкие морозы?

— Станешь туг на ухо, язык, не дай бог, начнет заплетаться, зрение ослабнет. И я всю оставшуюся жизнь буду сиделкой при больном.

— Еще поглядим, кто будет сиделкой, я или ты, — рассердился Гого и хотел крепко выругаться, но сдержался, чтобы не доводить дело до скоры, после которой, как он знал по горькому опыту, между ними наступит мучительное, на целые недели гробовое молчание.

— Если тебя не заставляют оформлять пенсию, почему ты лезешь на рожон?

— Ну не умирать же в этом кресле, кто-то уходит, кто-то заступает на его место.

— Интересно, тот, кто придет тебе на смену, будет более умным, порядочным или большим патриотом, чем ты?

— Он гораздо умнее меня, — с горечью сказал Гого.

— Кто — он? — забеспокоилась Азнив Алис.

— Тот, кто собирается жениться на дочери министра, старой деве.

— Скажи своему министру, что этот подонок, мерзавец, разбойник с большой дороги женится из корыстных целей, завтра он выгонит из дому и без того несчастную девушку. Все ему выложи, ничего не скрывай, кое-что придумай сам — фантазии, что ли, у тебя нет, или учить тебя армянскому языку?

— Не выгонит он ее.

— Не важно, ты все равно скажи, повтори несколько раз. А в конце добавь, что он не на твое кресло зарится, а в министры метит.

— Он мне не поверит, — сказал Гого.

— А ты его убеди... Поклянись, что скажешь.

— Не люблю давать ложные клятвы.

— Ты не человек, Гого! — сдавленным голосом воскликнула Азнив Алис. — Я сама пойду к министру и расскажу ему обо всем. Мы должны сказать ему правду, должны спасти его.

— Да знаешь ли ты, кого хочешь спасти?! — Гого будто бес попутал, и он сказал то, чего не следовало бы говорить: — Я

ухожу на пенсию еще и потому, что устал от него, ненавижу его, он считает тебя уродиной и будто в шутку, но с издевкой намекает на это в присутствии других.

— Не принимай близко к сердцу, Гого, — дрожащим голосом прошептала Азнив Алис, — ты же знаешь, что я не красавица, и не надо обижаться на правду, а тем более бежать. Продолжай работать, прошу тебя, оставайся в своем кресле.

— Для меня это чудовищное унижение.

— Чудной ты, Гого, ну, убудет тебя, если немного и унизишься? Ты будто не от мира сего.

— Не дам никому измываться надо мной.

В глубине души Гого Дургарян все-таки колебался: уход на пенсию чем-то напоминал ему новую квартиру или новый брак — как знать, какая попадется жена или в какой переедешь дом, да и доведется ли после этого еще пожить или тебя ждет смерть. Искушение, правда, робкое, но было, и Гого не мог им пренебречь.

— А ты подумал о своей ручке с золотым пером, которую любишь больше, чем меня?

Разумеется, Гого о ней подумал. Он возликовал: жена хотела задеть его за больное место, но попала впросак.

— Сколько людей я повидал на своем веку, Азнив Алис. Я был очевидцем и участником незабываемых событий, уж не говорю о нашей с тобой совместной жизни. Кому же, как не мне, рассказать обо всем этом, а?

Азнив Алис, конечно, была тронута замыслом Гого написать о прожитых годах. Значит, он опишет золотым пером и их медовый месяц на берегу Севана, а если вдруг о чем и забудет, так она ему напомнит о сладких мгновениях того далекого времени; но тем не менее, подумала она, это будет всего лишь утешением в тягостных, безрадостных буднях пенсионного житья.

— Ты будешь скучать по нашей “Волге”. Ее же не отправят вместе с тобой на пенсию.

— Вначале мне будет ее недоставать, а потом привыкну.

— Ты соскучишься по своему креслу.

— Оно мне осточертело.

— Ты не вынесешь разлуки с красавицей секретаршей, — поддела Азнив Алис, так как когда-то ходили слухи, что Гого завел с ней шашни и делает дорогие подарки.

— Давай не будем углубляться, — строго и грубо сказал Гого.

— Если я по ней и соскучусь, то найду выход из положения.

— Сейчас с тобой с уважением раскланиваются, а выйдешь на пенсию, сам будешь лебезить перед другими. Ты превратишься в

ничто, в нуль. Что от тебя останется завтра? — одно твоё имя, да и то только в моей памяти. О тебе никто не вспомнит, забудут твою походку, твой голос, даже лицо, никто и не вспомнит, что ты вообще жил на свете.

Ночью Гого никак не мог сомкнуть глаз. Уговоры жены были для него пустыми словами, потому что за последнее время он духовно почти на голову перерос её, всерьёз пересмотрел и преодолел в себе прежние взгляды, однако доводы Азнив Алис как-то взбудоражили Гого, точно его неожиданно ударило током. Прошло несколько часов после их разговора, но сердце у Гого сильно колотилось, в висках тревожно стучало, и он никак не мог заснуть. От перспективы полного забвения, тем более после стольких лет широкой известности, Гого приходил в ужас. Он себя любил и ценил, готов был смириться даже с мыслью о смерти, но только не с такой несправедливой утратой при жизни. В тихих потемках комнаты он мучительно раздумывал, что делать, прикидывал разные пути-выходы, которые вновь и вновь загоняли его в тупик.

Утром Гого чувствовал себя не в своей тарелке, машинально побрился и, выходя из дома, чуть было не забыл повязать галстук. Подавленный вид Дургаряна удивил и напугал секретаршу.

— Что с вами?

— А что? — с замирающим сердцем спросил Гого, решив, что секретарше известна какая-то недобрая весть о нём.

Обескураженная вконец секретарша повела плечами, и впервые за много лет Гого не заметил их обнаженной белизны.

Войдя в кабинет и бесшумно, но плотно закрыв за собой дверь, Гого на секунду задержался и подозрительно оглядел мебель, с которой расстался накануне. Ему почудилось, будто предметы в кабинете встретили его холодно и безразлично, не узнали его — точно вошел кто-то посторонний, а не он, Гого Дургарян. Он провел рукой по бархатным спинкам стульев, коснулся стеклянной дверцы шкафа, за которой все в том же ровном боевом строю стояли книги в тисненых золотом переплетах, осторожно ощупал складки гардин, потрогал горшочки с цветами на подоконниках, телевизор — будто хотел напомнить, что перед ними не кто иной, как сам Гого Дургарян, однако они ничуть к нему не подобрели. От золотого пера тоже повеяло холодным отчуждением, когда он вынул его из кармана и, погладив, положил на стол. Гого непроизвольно поднял голову и взглянул на стену, где висел портрет Самого-Самого, и остолбенел. В то утро тот смотрел на него, как на пустое место. Гого по-

чел бы за счастье, если б он рассердился на него, пригрозил бы старыми и новыми мерами наказания, — так нет же, уставился куда-то отсутствующим взглядом, не замечая и не узнавая Гого. Взволнованный и скованный страхом, он нечаянно задел один из телефонов и уронил трубку на пол.

— Кто это? — раздался в кабинете недовольный голос министра.

— Я...

— Кто ты?

— Гого...

— Слушай, а голос совсем не твой.

— Мой голос, — побледнел Гого.

— Будь на месте, я тебя вызову.

Время шло, но министр молчал. К концу дня Гого позвонил ему наверх, но тот уже ушел.

Министр не вызвал его и в последующие дни, и Гого терзался в неведении. Изнурительное ожидание в надежде, что министр вызовет его лично или через секретаршу или ночью ему позвонят домой, как это бывало раньше, лишило Гого смелости напомнить шефу о своем существовании.

По вторникам в просторном кабинете министра начальники управления и заведующие отделами собирались на летучку с краткими отчетами о проделанной работе.

— А где Гого? — окинув присутствующих взглядом, спросил министр.

— Я здесь.

Гого страшно обрадовался, что министр вспомнил его имя. Но настроение у него тут же омрачилось, потому что минуту назад, скользнув по нему взглядом, шеф не узнал его.

Проходили дни, недели. Гого Дургарян решил повременить с пенсией и лихорадочно обдумывал, как спастись от столь, по его мнению, очевидного и скорейшего небытия при жизни. Каждое утро он тщательно брился, надевал и затягивал на шее галстук, садился в “Волгу”, но не рядом с водителем, а на заднее сиденье. На совещаниях, закинув ногу на ногу, он устраивался в середине первого ряда, на своем обычном месте, в случае необходимости выступал с внушительной и серьезной интонацией в голосе, не произнося ни единого лишнего или неточного слова. Но Дургарян чувствовал, что к нему исподволь подкрадывается другая жизнь и он поддается ее медленному натиску. А Азнив Алис была довольна мужем. Она не догадывалась, какая неизбывная печаль неотступно, точно червь, подтачивала его силы.

Как-то после работы, когда Дургарян садился в машину, к нему подошел главбух и попросил подвезти. У дома главбух любезно пригласил Гого к себе. Они долгие годы проработали вместе, главбух пару раз бывал в гостях у Гого, и Азнив Алис обильно потчевала его всевозможными яствами. Гого же ни разу не был у своего сослуживца и принял его приглашение.

Роскошная квартира главбуха была изысканно обставлена, но Гого больше всего поразил выполненный маслом портрет хозяйна дома в широкой позолоченной раме, висевший в просторной гостиной над фортепиано. Со стены смотрела не картина, а живая копия главбуха, и Гого показалось, что тот вот-вот спустится вниз, подойдет поздоровается, протягивая большую теплую ладонь, и на губах у него будет играть столь знакомая лукавая улыбка. Гого не отрывал от портрета восхищенного взгляда. На картине главбух сидел с самодовольным, гордым видом, высоко подняв голову, будто покорил весь мир; на указательном пальце правой руки, покоившейся на подлокотнике кресла, сверкал перстень с бриллиантом.

— Это я, — сказал главбух из-за спины Гого.

— Да уж, вылитый ты, — сказал Гого.

— Пускай меня помнят и любят, когда меня не станет, — сказал он.

За обедом Гого не сводил глаз с портрета и осушал стопку за стопкой, так что под конец порядочно захмелел от вина и от зависти.

Через несколько дней Гого Дургарян вызвал к себе главбуха.

— Послушай, кто это тебя нарисовал?

— А что, и тебе захотелось увековечиться?

— А кому не хотелось бы?

— Замечательный был художник, такого, как он, не было и никогда не будет, в прошлом году скоропостижно скончался. Если ты решил занять свой портрет, то у меня есть знакомый молодой художник.

— Глупо связываться с молодыми, им не хватает ни опыта, ни таланта, да и совести тоже.

— Что же будешь делать?

— А ничего, подумаешь, обойдусь.

Гого Дургарян кривил душой.

Было воскресенье, в полдень он вошел во двор, расспросил у игравших ребятишек, на каком этаже живет проживающий в их доме художник, и хотя лифт работал, пошел вверх пешком.

Художник жил в мансарде высотного здания, и, нажимая кнопку звонка, Гого мельком подумал: приютился под кровлей, как голубь, и сравнение вселило в него надежду на благополучный исход его затеи.

— О, господин Гого... — распахнув дверь, радушно и удивленно приветствовал гостя художник. — Столько лет живем в одном доме, но ты в первый раз соблаговолил посетить мою мастерскую, и дай бог, не в последний.

Небольшая комнатка от пола до потолка была заставлена и увешана холстами, в основном без рам. Старая никелированная кровать, невзрачный гардероб, кресло-развалюха, круглый стол с деревянными подпорками, где помимо тюбиков и кистей валялись остатки черствого хлеба, головка гнилого лука и огрызки сыра — жуткая теснота и убогость. Гого подумал, что так и должны жить настоящие художники.

— Хочешь кофе? Рюмочку тутовки? Присаживайся, господин Гого, — указывая на кресло, сказал художник, — это место для моих почетных гостей.

Гого не сел и принялся внимательно разглядывать картины, точно покупатель, разыскивающий на рынке наилучший товар, за который готов раскошелиться, невзирая на дороговизну.

— Что это?

— Мужчина и женщина. Она любят друг друга.

Гого пристальнее всмотрелся в холст, и хотя ничего подобного не обнаружил, поверил художнику на слово.

— Давай я напишу твой портрет. Ты — типаж, — сказал художник и, прищурившись, вблизи и издали взгляделся в его лицо. — Такая модель, как ты, не каждый день мне попадается.

Слово “модель” покорило слух Гого, но он обрадовался определению “типаж”: приятно, что тебя еще могут оценить.

— Можно мне позировать в этом кресле? Только ты прикрой его каким-нибудь ковриком, а то торчат все его внутренности...

— Ты мне свою волю не диктуй, господин Гого, — мягко пожурил художник, — как захочу и как внутренний голос мне подскажет, так и напишу, я свободный художник.

Хождение в мастерскую художника Гого Дургарян держал в строгой тайне и от главбуха, и даже от Азнив Алис. Гого хотелось доставить неожиданную радость жене, а заодно в отместку доказать ей, что он при любых обстоятельствах был, есть и будет.

По воскресеньям он выходил во двор, испытывая бо́льшую ответственность, чем когда отправлялся на службу, и, убедившись, что за ним никто не наблюдает, торопливо шагал к сосед-

нему подъезду. Перед дверью художника он поправлял галстук, причесывал волосы, довольно густые в его возрасте, поглаживал чисто выбритое лицо и только после этого большим пальцем нажимал на кнопку звонка.

Художник встречал его с распростертыми объятиями, не забывая воскликнуть “о, господин Гого”, и отводил его к креслу-развалюхе, которое, несмотря на постоянные напоминания и просьбы Гого, не прикрывал ковром.

Гого с нетерпением ждал того дня, когда заберет портрет и торжественно внесет в дом. Он уже прикинул, где картина будет висеть: в гостиной, на стене с персидским ковром, напротив окна. Надо будет заменить занавеси более легким, прозрачным тюлем, чтобы в комнату проникало больше солнечного света и при входе в гостиную портрет сразу бросался бы в глаза. Наконец наступил долгожданный день. Гого оцепенел перед картиной, но не от охватившего его восторга — он был в недоумении.

- Вот он ты, — нарушил затянувшееся молчание художник.
- И рот мой?
- И уши тоже твои.
- Почему у меня нос красный?
- Я его таким вижу.
- А где мой галстук?
- Галстук не обязателен.
- Подбородок тоже не обязателен? — Гого уже не мог сдерживать гнева. — Посмотри, как ты скривил и удлинил его.
- Подбородку придает значительность смещение его линий.
- Одна бровь длиннее другой.
- Брови никогда не бывают одинаковыми.
- У меня же нет усов.
- Если бы ты не брился, был бы с усами.
- У меня два глаза.
- Один глаз придает лицу больше внушительности и выразительности.

— Не знаю, может, он и похож на кого-то, но только не на меня.

— Станный ты человек, господин Гого, хотя я писал тебя, но это вовсе не значит, что портрет должен быть похож именно на тебя, — вышел из себя художник. — Он может быть похож и на Мамикона, и на госпожу Сируш Арутюнян — погляди-ка, как смахивает, — и на Гарегина... Я написал портрет героя нашего времени, а не какого-нибудь случайного человека.

— Ладно, мог бы нарисовать чуточку похожим и на меня, — приуныл обиженный Гого, — целый месяц хожу к тебе, столько лет живем по соседству.

— Он похож на тебя так же, как ты — на это подлое и мерзкое время, посмотри хорошенько, ты и себя узнаешь... Ну... Вот видишь, узнал...

— Что-то есть, — вынужденно сказал Гого, чтобы как-то выйти из неловкого положения, хотя все равно не обнаружил ничего общего между собой и портретом.

— Нет, господин Гого, не узнал ты себя, и не я, а твои скудные эмоции тому виной, — искренне огорчился художник. — Я понял: тебе нужна не картина, а фотография.

— Почему же, я себя узнал, это — я, — сказал Гого, чтобы снять с себя тяжкое обвинение в скудных эмоциях, и неохотно полез в карман. — Покупаю... Сколько с меня?

— Знаю, ты можешь много заплатить, но картину я не продам, я представляю ее на выставке.

Гого не стал возражать-уговаривать, пусть забирает на выставку, ни к чему держать в его доме портрет какой-то госпожи Сируш Арутюнян, пусть где хочет, там и выставляет, хоть за границей.

Гого Дургарян никогда еще не был в таком смятении, но не подавал виду. В одну из бессонных ночей потемки спальни словно озарила вспышка, и Гого внезапно вспомнил упрек художника, который вначале пропустил мимо ушей: тебе нужна не картина, сказал он, а фотография. Так и сказал. Ну и что? А почему бы и нет? Чем фотография хуже картины? Да ничем. Фото даже гораздо лучше, правдивее, красивее, долговечнее и, главное, передает сходство с оригиналом. Гого чуть было не обезумел от радости и до утра не сомкнул глаз.

В большом городе много фотоателье. В выходные дни Гого не спеша прогуливался по улицам и останавливался лишь перед витринами с фотографиями, долго их разглядывал и диву давался. Какие естественные глаза, а морщины на лбу, а усы и борода совсем как настоящие, а женщины — форменные красавицы с обнаженными изящными шеей и плечами, их улыбающиеся губы, что лепестки розы, — бывают ли такие женщины? Конечно, да, фотограф же не может ни прибавить, ни убавить их красоту, веско рассудил Гого, а отражает то, что в самом деле существует, и если в жизни ты интересная, видная и красивая личность, то таким же выйдешь и на фото.

В поисках хорошего фотомастера, что в большом городе было делом не из легких и требовало терпения, Гого увидел однажды в фотовитрине снимки обнаженных женщин. Он вытаращил глаза — надо же, все до единой были в чем мать родила. В полном замешательстве он закрыл глаза и тут же снова открыл их: ну да — голые. Одна сидела в кресле и пилкой подравнивала ногти на руке. Другая на покрытой ковром кушетке обхватила согнутые колени. Третья демонстрировала длинные красивые ноги. Четвертая приняла позу, в которой удачно выставляла свою попу и одну из грудей. Каждая по-своему хороша в костюме Евы, а вместе взятые они являли собой впечатляющую массу обнаженного тела. Гого пересчитал их еще и еще раз — всего семеро. Наиболее откровенно обнаженной была женщина в центре, заснятая в натуральную величину до самого пупка, — точь-в-точь живая натурщица.

— Вы фотограф? — спросил Гого у стоящего в дверях элегантного молодого человека в черном костюме, в белой сорочке и темном галстуке с булавкой.

— Здесь увеселительное заведение, вход двадцать пять долларов.

Гого повернулся и торопливо зашагал прочь. Он почти бежал, привлекая к себе внимание прохожих. “Почему я бегу?” — и он встал как вкопанный. Прохожие все равно с любопытством и, как показалось Гого, усмешкой оглядывались на него. Стоять так тоже не дело. И шаг за шагом он подладился под общий ритм людского потока. Никто больше на него не оборачивался. “Жизнь стала переменчива, как погода, — забеспокоился Гого, — надо поскорее найти фотографа, не то поздно будет, мир окончательно перевернется вверх тормашками, и тебя не услышат из-под руин, навечно забудут твое лицо, и прожитые годы занесет землей”.

Поиски первоклассного фотоателье продолжались и в будние дни, и в обеденный перерыв, который он растягивал за счет рабочего времени. Каждый день мог стать фотосъемочным, поэтому Гого выходил по утрам выютюженным, тщательно ухоженным, принаряженным.

В один из дней бесконечных поисков Гого остановился у какой-то витрины и замер от неожиданности: с витрины на него смотрели не обнаженные и не полуобнаженные фотомодели, а фотопортрет главбуха. “Мало ему дома красоваться в масляных красках, он еще и выставляет себя напоказ всему городу”. От зависти Гого задрожал всем телом и, без всяких колебаний толкнув дверь, вошел в фотоателье.

- Как мне сесть?
- Как тебе угодно.

Гого принял внушительно-величественную, самоуверенную, то есть, на его взгляд, наиболее подходящую позу.

- Сделайте крупноформатное фото.
- Какое именно?
- Крупнее, чем фото того главбуха.

Гого Дургарян давненько не фотографировался и удивился, когда все произошло так быстро. Он с легким сердцем вышел из фотоателье и, кинув взгляд на расположившегося в витрине главбуха, ушел восвояси.

Гого шагал неторопливо, с самодовольно сияющим лицом, будто удачно провернул крутое дельце. “Фото — штука полезная. Глаза и брови, как и положено, на своем месте, нос и губы на тебя похожи, и у каждого своя улыбка, свой норов — все честь по чести. На фото — твое лицо, и ничье больше. Твоя жизнь. Твой взгляд. Твоя внешность и сущность. Вставлю его в позолоченную рамку. Пусть все любят. Возьму две фотографии: одну для дома, другую для витрины. Выставлю главбуха и сам туда сяду. Мое это место”.

Через несколько дней Гого, как и условились, отправился в фотоателье. Дверь была заперта, и он стал терпеливо ждать. Взглянув мельком на главбуха, Гого усмехнулся. “У тебя остались считанные часы”, — злорадно подумал он. Вскоре появился фотограф.

— Знаете, не получилось, — сказал он, входя в фотоателье.

— Что не получилось? — не понял Гого, и сердце сжалось от дурного предчувствия.

— Посмотрите, — сказал он, показывая на свет негатив, — галстук вышел, брови вышли, левое ухо тоже, а вот вас нет.

— Почему меня нет? — испугался Гого.

— Ни мой аппарат, ни вы, ни пленка тут ни при чем, я не знаю, в чем дело. Сфотографирую еще разок. Будет готово через пару дней.

Гого угрюмо вышел на улицу. Обремененные повседневными заботами люди не обращали внимания на Гого. Ночью он так и не смог уснуть: до самого утра ему мерещился бракованный негатив.

Два дня ему показались целым месяцем. Переступив порог фотоателье, он побледнел, увидев недовольное лицо фотографа.

— Опять ничего не получилось.

— Ладно, но кто виноват? — У Гого закружилась голова, и он опустился на стул.

— Я тут ни при чем.

— Значит, с фотоаппаратом не ладно.

— Не валите на фотоаппарат, я снимал им и до и после вас, и все снимки вышли отлично, проблема только с вами.

— Сфотографируйте еще раз, я хорошо заплачу.

— Меня в данном случае интересуют не деньги, — сказал фотограф, — а какой тут скрыт секрет.

Через несколько дней Гого снова отправился к фотографу в надежде, что тот разгадал секрет и наконец-то вручит готовые снимки. Когда он подошел к витрине, главбух с издевкой кивнул ему. Не к добру это, подумал Гого и повернулся было, чтобы уйти, но услышал сзади голос стоявшего в дверях фотографа.

— Заходи, куда же ты?

— Разгадал секрет? — спросил Гого, побоявшись узнать, получилась ли фотокарточка.

— Очень странный случай, — сказал фотограф, беря со стола негатив. — Посмотри, а теперь вышли два уха...

— Галстука нет, — заметил Гого.

— Есть уже один глаз...

— Но теперь нет бровей...

— Слегка прорисовывается подбородок...

— Вроде и рот есть.

— Рта нет...

— А где мой нос?..

— Нет носа...

— Я-то есть?

— На сей раз многое вышло, но вас, к сожалению, снова нет...

— Почему?

— Не хотелось бы думать, что загвоздка в вас. Обратитесь лучше к другому фотографу.

— Думаете, что-то получится? — спросил Гого точно утопающий, хватющийся за соломинку.

— Может, получится.

Он пришел в себя и осознал свалившуюся на него напасть, только когда достаточно удалился от фотоателье. Никто в снующей толпе не замечал Гого, но он был уверен, что все с него глаз не сводят. Ну и пусть глазеют, значит, он еще существует, у него своя собственная, а не чья-нибудь суть, своя жизнь. “Но если так будет продолжаться, — рассудил Гого, и его прошиб холодный пот, — то очень скоро Гого для всех превратится в невидимку”. Гого Дургарян содрогнулся: неужели он и сам уже воспринимает себя отстраненно и отчужденно, как ничейную плоть,

которая понемногу отдаляется, расщепляется, сжимается и, в конце концов, канет в туманные завихрения небытия?

Устрашающий образ подхлестнул Гого незамедлительно войти в первое же попавшееся на пути фотоателье.

— Выйдет что-нибудь? — осторожно поинтересовался Гого после съемки.

— Что за вопрос? — рассердился задетый фотограф.

До вечера Гого заглянул еще к трем фотографам, подумав, что хотя бы на одной из четырех фотографий отобразится его подлинное лицо.

— Вам надо будет снова сфотографироваться, — через несколько дней сказал первый фотограф.

— Почему?

— Не получилось.

— Но хоть что-нибудь видно на пленке?

— Галстук на месте, а лица нет.

— С чего бы это?

— Наверное, не повезло вам.

Сфотографировавшись, Гого кинулся к остальным фотографам.

— Не получилось. Глаза не вышли, рот кривой, брови... бровей вроде не видно, — разглядывая пленку, сказал второй фотограф. — Хочешь, еще раз щелкну?

— Как будто перед объективом тень снималась, — сказал третий.

От прежней степенной осанки Гого Дургаряна и следа не осталось, на стуле сидел доведенный до отчаяния человек, и трое разных фотографов старательно снимали его, со всей серьезностью и ответственностью включив дополнительные осветители.

Жизнь превратилась в пытку, стала для Гого в тягость, и впереди мерещились только нескончаемые страдания.

Гого медленно подошел к первому фотоателье, робко постучал в дверь и, не услышав ответа, рискнул войти.

— На сей раз и галстук не вышел, — сказал фотограф, недружелюбно глядя поверх очков, сдвинутых на кончик носа.

— Ну, с чего бы это?

— Что ты заладил, с чего бы да с чего бы! — воскликнул фотограф. — Откуда я знаю, себя спрашивай!

Остальные трое фотографов обошлись с Гого вежливо и, точно сговорившись, повторяли:

— Ничего не выходит. Обратитесь в другое фотоателье.

— Куда?

— На улицу Налбандяна.

- Я там был, ничего не получилось...
- У памятника Таманяну.
- И там был...
- Под гостиницей “Ереван”...
- И туда заходил...
- И что же? — удивился один из фотографов.
- Кое-что, конечно, можно разглядеть, но меня не видно.
- Не падай духом, — смущенно почесав в затылке, сказал фотограф, словно разговаривал с умалишенным.

Гого не падал духом, а поборов в себе эмоции, здраво рассуждал: у каждой вещи, естественно, есть своя фотокопия, поскольку она воочию существует в жизни, а не является миражом или сном. Однако посещения фотоателье все больше заставляли его усомниться в этой истине. “Я тут ни при чем, — даже в самые мучительные минуты успокаивал он себя. — И если фотоаппаратура в порядке, то значит, причина кроется в чем-то другом”.

Ежедневно Гого заходил в несколько фотоателье, как тяжелобольной в операционную, терзаемый исходом своей участи: быть или не быть?

К началу осени Гого обошел все фотоателье города.

Ни один фотограф не порадовал его.

Гого не был слабовольным человеком и сумел взять себя в руки. Он раз и навсегда отказался от мысли уйти на пенсию. До последнего дыхания он будет прочно держаться за свое место. Рассказывали, как какой-то начальник и на девяностом году жизни, не хотел уходить на заслуженный отдых, хотя уже спал и мочился в рабочем кресле. И в общем-то он оказался прав. Ему устроили пышные похороны, тело вынесли из его кабинета, и во всех газетах напечатали его фото. “Но ведь у меня же нет фотографии, — Гого словно окатили ушатом холодной воды. — В альбоме сохранились давние снимки, которые ничего общего со мной не имеют”.

Будучи добрым по натуре, Гого вдруг ожесточился, проникся ко всем завистью и злобой, в глазах появилась ненасытная алчность — урвать от жизни даже то, чего в ней нет; лицо стало желчным, речь — раздражительной и язвительной. Он начал ненавидеть даже Азнив Алис, которая была воодушевлена бурной деятельностью мужа и, невзирая на голодное и смутное время, всячески ухитрялась сытно кормить его.

Был воскресный осенний день. Ласково пригревало солнце.

Гого Дургарян принарядился, не забыв повязать галстук, и вышел прогуляться.

Недалеко от дома, на футбольном поле, детвора гоняла мяч, забивая голы в ворота. Гого остановился. В юные годы — сколько воды утекло с тех пор! — он тоже любил футбол, и из него мог получиться если не нападающий, то отличный защитник, но жизнь круто свернула в другое русло. Гого с тоской улыбнулся своему прошлому. Он и не заметил, как очутился вдруг в воротах.

— Дядя Гого, лови! — крикнул один из ребят и отправил мяч в ворота.

Гого ударом ноги вернул мяч детям.

— Лови!

Удар оказался гораздо сильнее, и мяч взлетел выше по кривой, так что Гого едва удалось отбить его рукой. Ребята воодушевились.

— Дядя Гого, лови!

Отбивая друг у друга мяч, они бежали к воротам.

— Дядя Гого!..

Гого тоже вошел в азарт. Он отбивал мяч то руками, то ногой, бросался то вправо, то влево, широко раскинув руки, ловил мяч и снова сильным ударом отправлял на поле.

— Дядя Гого, лови!..

Однако мяч беспрепятственно влетел в ворота. Легкая пыль вилась между двумя штангами, а Гого и след простыл. Ребята вмиг приумолкли и замерли на поле. Исчез.

Гого будто и не было вовсе.

Баграт Алекаян
Из книги “ВУЛКАНИЧЕСКИЕ НОЧИ”
Перевод А.Татевосян

НЕАДРЕСОВАННЫЙ ТРИОДЕТ

Дай извальяться в твоих глазах — ударь, вине моей нет предела,
 Пусть ночи над моей головой сгрудятся голова к голове,
 Не выпускаю из губ дудук — я знаю, роза в твоих руках,
 Дай извальяться в твоих глазах — ударь, вине моей нет предела.

Пусть из прохода дует сквозняк и пусть приходит хмельной
 кортеж
 Бегом туда и сюда таскать мое начало и мой конец...
 Дай извальяться в твоих глазах — ударь, вине моей нет предела,
 Пусть ночи над моей головой сгрудятся голова к голове.

БЕССОННИЦА

Опять кошачий скорбный плач, переместясь, звучит во мне,
 Мяучит бесконечно ночь в моих зрачках на самом дне,
 Как вырастить надежду мне, чтоб распустился в доме свет,
 Как уточнить — проснулся я, или совсем заснул во мне.
 Кто должен убедить меня, что не распят никто вокруг,
 Что нету крови у чернил, что путь мой благ и сам я прав,
 Когда вдруг данная нам жизнь и исчезает так же вдруг,
 И мы безвременно кричим, грудь дня коленями примяв.
 Как долго мне еще себя пленять придется самому,
 Нырять в придуманный восторг и засыпать в прохладе роз,
 Хотел я именем твоим сорвать небесный свет, но тьму,
 Я тьму кровавую в руках своих нашел и горсть заноз.

Опять кошачий скорбный плач, переместясь, звучит во мне,
 Мяучит бесконечно ночь в моих зрачках на самом дне.

ЧТОБЫ Я ЧЕЛОВЕЧЕЛ

Да что же со мной сотворили и как это сделать сумели?
 Немые голодные вещи беспечную жизнь мою съели,
 Души своей светлый цветок я увидел в разверзнутой пасти,
 Другие же — дня разрывали клейменую шкуру на части.

Я счастлив был, мне с материнской молитвою было легко,
 Глаза моей мамы дрожали от ран моих глаз далеко,
 И день, нагруженный дарами, ворочался в чреве у дня,
 Облизывал осени желтый язык животворно меня.

И эти невинные вещи — виновны кругом, издалече
 Друг с другом и друг через друга и, вскинув на сильные плечи,
 Упорно воодушевляли меня, чтобы я человек,
 Чтоб с каждым ушедшим из жизни... не делалось чуточку легче.

И чтобы в пути бесконечном, сквозь боль столкновения с миром,
 Был тем же возлюбленным смерти, живым оставался кумиром.
 Да что же со мной сотворили и как это сделать сумели?
 Немые голодные вещи беспечную жизнь мою съели.

ОТЕЦ

Вот уже
 Сколько лет,
 Твой камень на плечи взвалив,
 Я иду к тебе
 И все никак не дойду.
 Заплутал я, отец,
 Заблудился,
 Твой камень от боли
 Молча потяжелел,
 Погрузился
 В кровь мою,
 Мы уже
 Стали плотью единой,
 Друг сквозь друга
 Уже
 Сколько лет
 Мы идем

И не можем понять,
Кто кого
Приближает к тебе.

УДИВЛЕНИЕ

Мир по мне,
Я по этому миру
С ума сошли бесповоротно,
Зачем же ты тащишь
Меня в мир иной?

ЗЕРКАЛО

Ночь надо мной
Так удлинилась,
Истончилась так,
Что смерть вот-вот
Покажется уже.

ВЕЧЕР, КОРОНОВАННЫЙ ОСЕНЬЮ

Тьма себя ударяет в чугунную грудь,
На осенний молебен набатом зовет,
Ветер тщетно пытается небо вернуть,
Влить в слепые зрачки неблистающих вод.

Кто же в этих строках пробудится от сна —
Нешлифованных, диких моих? Беспокоясь
Ночь несется, бессчетных видений полна,
Как на темный перрон задержавшийся поезд.

Эльда Грин РАССКАЗЫ

И ПРИСНИЛСЯ ЕМУ АРНО

Богдан искал работу. Он стучался в двери музыкальных школ, училищ, консерватории, филармонии, стучался по второму, по пятому кругу. Одна сердобольная секретарша объяснила, что “самотеком” ничего не получится: всюду клановость, связи, взятки, звонки сверху... В кожаной папке, которую Богдан бережно носил с собой, ненужно лежали дипломы Московской консерватории, аспирантуры, лауреатства... А в доме почти не осталось вещей, которые можно было продать. Даже рояль — неразлучный друг его жизни — пришлось дать в залог. На выцветшей стене осталась только висеть снятая не в фокусе фотография: Богдан во фраке за этим роялем... Тот длинный, нелегкий путь, который он прошел, чтоб стать пианистом, теперь казался ему бессмысленным...

Как-то, проходя мимо подземного театра, Богдан различил сквозь огромные стекла окон концертный рояль “Эстония”, одиноко стоявший посреди пустого вестибюля. Его потянуло туда как магнитом. Войдя, он сел за рояль, и гулкое пространство вестибюля тотчас наполнилось возвышенной музыкой Семнадцатой сонаты Бетховена. Возможно, она проникла и в кабинет администратора, поскольку он вырос вдруг у рояля, дожевывая шаурму, которую услужливо доставлял ему “на перерыв” кассир театра.

— Профессионал? — спросил администратор.

Богдан продолжал играть.

Администратор оглядел его с ног до головы.

— Безработный? — спросил он.

Богдан кивнул, продолжая играть.

— Беру на работу! — объявил администратор.

Музыка оборвалась, хотя пальцы Богдана еще касались клавиш.

По интонации ли администратора или каким-то внутренним чутьем, но Богдан догадался, что работа, которую ему предлагают, не имеет ничего общего с профессией пианиста. Но он немного ошибся.

— Мне нужен клоун-пианист, — сказал администратор. — За границей это давно практикуется, но для Армении будет новостью.

— Не понял, — сказал в недоумении Богдан.

— Вы должны и удивлять публику виртуозной игрой, и потешать ее всякими штучками-дрючками: падать со стула, играть носом, делать глоссандо локтями... Все в этом духе. Можете репетировать здесь хоть каждый день. До шоу-соревнования еще месяц. Афишу уже заказали: “Кто быстрее и больше!” То есть кто быстрее всех и больше всех съест сарделек, ветчины, пирожных. В афишу внесем и вашу фамилию. Я хорошо заплачу.

Администратор назвал сумму.

“За кого он меня принимает?” — мысленно возмутился Богдан и страшно удивился на себя, сказав администратору:

— Согласен.

“А чему удивляться? — думал Богдан, возвращаясь домой. — За такие деньги и рояль можно выкупить, и прожить”. Мать, конечно, не обрадовалась бы, узнав, чем собирается заняться ее сын. Но он поедет на кладбище и попросит у нее прощения. Тем более что это временно...

Дома он почувствовал сильную усталость, не раздеваясь, лег на кровать и тут же уснул.

Сначала великий Арно Бабаджанян был частью его долгого, запутанного сна. Но стоило Богдану среди ночи открыть глаза, как тут же все позабылось, в памяти остался один Арно. Вернее, ощущение его присутствия и, одновременно, мысль-воспоминание, как Арно, исполняя как-то в узком кругу свои произведения, вдруг, потехи ради, ударил последнюю ноту носом. Своим знаменитым носом!.. Между шуткой, которую позволил себе Арно, и тем, что предложил ему администратор, Богдан уловил отдаленную связь. Это его успокоило. В открытое настезь окно вливалась предутренняя свежесть, и его полупустая комната словно распахнулась во внешний мир, во вселенную, частичкой которой был и он сам... Да, конечно, ребенком он часами отстукивал гаммы, в то время как во дворе дети затевали шумные иг-

ры. Но после победы на конкурсе в Париже ему показалось, что он сможет оставить какой-то след в мире... Теперь его позабыли, и в этом никто не виноват. Таково время. Жизнь — цирк, а люди в нем клоуны. Но каждый из них, возможно, по-своему одинок...

Богдан вспомнил телекадр: огромная площадь битком набита людьми. Под громоыхание репродукторов все поют “Фити-Мити” и танцуют, танцуют на месте, топчутся, трутся друг о друга. Спины, животы, руки, головы — все переплелось в чудовищный, ритмично вздрагивающий клубок. “Фити-Мити! Утешай меня, Китти!” Тела покачиваются, словно имитируют совокупление, словно участвуют в широкомасштабном группенсексе. Кто-то сказал, что джаз — это веселая музыка в мрачном мире. Похоже, толпе на площади не нужен был и джаз, лишь затасканная, однообразно повторяющаяся комбинация из двух-трех нот: “Фити-Мити! Утешай меня, Китти!”...

Под утро Богдан опять уснул, и ему привиделся просторный, старинный зал, тяжелые, таинственно мерцающие свечами люстры, Лев Толстой среди гостей, мазурка Шопена и грациозные пары, которым было где развернуться в танце.

Но к десяти утра Богдан был уже в подземном театре, и для начала репетиция прошла вполне сносно. Если верить администратору, в нем, оказывается, дремал талант Енгибарова. Богдан захватил с собой “Танец огня” Мануэля де Фальи, “Танец с саблями” Арама Хачатуряна, “Кампанеллу” Листа, кое-что еще, и они вместе с администратором и приглашенным из цирка консультантом составили точный план действий для всех этих “штучек-дрычек”. Уже к концу второй недели репетиций в вестибюле задерживались, чтобы посмотреть на Богдана, артисты, режиссеры, кассир и прочая театральная братия, а администратор заказал какой-то мудреный клоунский костюм, втайне надеясь уговорить Богдана в очередных шоу выходить на сцену в нижнем белье, а то и в чем мать родила. Он как бы ненароком упоминал зарубежных клоунов-музыкантов, истинных рыцарей смеха, ради которого они приносят в жертву даже свое ничем не прикрытое тело...

Нельзя сказать, что все шло так гладко, как казалось. Исподтишка подкрадывалась боль. Если честно, боль, едва ощутимая, была неусыпной. Но порой она становилась невыносимой, и тогда Богдана охватывало неодолимое желание крикнуть администратору и всему театру: “Нет!Нет! Нет!” Возможно, он так бы и сделал, если б не аванс, который ему выдали в кассе, благодаря чему он некоторое время вкушал иллюзию раскрепощения, сво-

боды: наконец-то он избавился от страха задолжать за коммунальные услуги! Но вскоре иллюзия эта сменилась новыми страхами: стать посмешищем в глазах музыкантов-профессионалов, вновь оказаться без денег, лишиться крова, потерять рассудок... Однако вечерние и ночные часы сменялись утренними, и Богдан, торопясь на репетицию в подземный театр, вновь и вновь начинал расценивать взятую на себя роль клоуна как временное, но необходимое падение. Мысли его устремлялись к Чаплину, Ильинскому, Тото и прочим великим комикам, и даже к шутам, без которых короли никак не могли обойтись. Как-то на ум пришла песня, которую он слышал от своего дяди еще в детстве:

*В уголке, за занавескою,
Клоун в рыжем парике.
Грим кладет мазками тонкими,
Сам же думает о ней.
Нет ее, с другим ласкается,
Нет ее, ушла с другим!
Клоун плачет-надрывается,
Не ложится больше грим.*

Маленькому Богдану было странно, что после этих печальных слов следовал веселый припев:

*А меж тем цирк гудит, шумит, смеется,
Шум несется сверху вниз,
И над цирком раздается
“Клоун, браво! Рыжий, бис!”*

Дядя, подыгрывая себе на гитаре, начинал петь второй куплет, и Богдан, которому хотелось выбежать из комнаты, почему-то оставался и выслушивал песню до конца.

*Вот под балкой, на трапеции,
Клоун вертит колесо,
И смеется по инерции,
Равнодушное лицо.
Нет ее, с другим ласкается,
Нет ее, ушла с другим!
Клоун плачет, кувьркается,
И, сорвавшись, вниз летит*

Богдан крепко сжимал веки, боясь увидеть насмерть разбившегося клоуна. Но публика продолжала ликовать, ибо припев был все тот же:

*А меж тем цирк гудит, шумит, смеется,
Гул несется сверху вниз,
И над цирком раздается
“Клоун, браво! Рыжий, бис!”*

Торопясь на репетицию и вспомнив эту песню, Богдан горько усмехнулся: он и забыл, что клоун давным-давно нашел место в его сердце!

На кладбище Богдан поехал накануне шоу, купив оригинальный букет из сиреневых роз, но прощения у матери не попросил, лишь прошептал: “Стараюсь как могу” и почему-то прослезился. Возвращался замызганным автобусом; в окне мелькали тощие коровы, пасущиеся у мусорных баков, разноцветные целлофаны по обочинам дорог, машины, дома, люди, а перед глазами неотвязно стояла картина из далекого детства: речная вода, несущая с собой отражение облаков...

Добравшись до дома, он неожиданно почувствовал то же, что и в день, когда унесли рояль: квартира выглядела по-другому. Вместе с роялем будто исчезло все, что было связано с музыкой, и пока он не привык к тому, что произошло, ему трудно было оставаться в своем доме... Теперь это ощущение повторилось: квартира показалась Богдану чужой. Он притулился в дверях к косяку и стоял так, пока не стемнело. Включив наконец свет, взял с полки книгу Эдуарда Эррио “Жизнь Бетховена” — с ней он не расстался бы ни за что на свете! — нашел фразу, в которую вкладывал всю свою любовь и благоговение к музыке и которая вызывала в нем чувство преклонения перед гением человека: “...отчего же мольба эта, столь нежная и столь печальная, так волнует нас...” Из груди Богдана вырвался стон, но он тут же взял себя в руки. Завтра начиналось шоу-соревнование обжор, и он не мог упустить шанса выкупить рояль!

Наутро Богдан проснулся раньше обычного, но в театр чуть было не опоздал. Пробежав мимо афиш и огромного пестрого щита, где между прочим красовалась и его фамилия, и еле протиснувшись сквозь толпу у входа, Богдан влетел в гримерную, где смуглая, с томными глазами гримерша до неузнаваемости размалевала ему лицо, помогла натянуть красное, в оранжевых яблоках, трико и нелепый зеленый балахон с помпонами, а не замедливший явиться администратор проводил его до середины кулис.

Но стоило Богдану ступить на сцену, “как он уже не помнил, во что одет и что ему следует делать, — он начисто забыл, что он клоун! Сцена и зал были для него привычной обстановкой. Богдан поклонился, сел за перенесенный из вестибюля рояль, пальцы коснулись клавиш и словно из глубины времен стала выплывать, выплескиваться и разливаться между землей и небом возвышенная, чарующая музыка. Битком набитый зал умолк. Где-то в вышине, под ветром, закачались щемящие душу звуки. На автостоянке, расположенной над театром, шофера в своих пробензиновых машинах задышали глубже, будто потянуло издалека запахом полей и гор или коснулись их слуха таинственные звуки космической арфы. А спешившая куда-то девушка улыбнулась незнакомому мужчине, невольной доля с ним невесть откуда взявшуюся зыбкую радость...

Но это длилось всего несколько минут, в зал ввалились опоздавшие, и один из парней, прислушавшись к звукам, идущим со сцены, громко сказал:

— Что это он там, блин, играет? — и хихикнул.

Хихикнули и в другом конце зала, смешок прокатился по первому ряду, где сидели претенденты на звание лучшего обжоры, перекинулся на задние ряды, и вскоре весь зал сотрясал хохот. А Богдан все играл. В потоке неистового смеха музыка Бетховена была маленьким божественным островком.

Взбешенный администратор, опасаясь, что шоу провалится, велел завозить на сцену тележки с едой. Одна тележка случайно стукнулась о рояль, накренилась, и к ногам Богдана стали вываливаться горячие, сплетенные-переплетенные друг с другом сардельки... Богдан в ужасе вскочил и с криком “Нет!” выбежал на улицу.

Размалеванный, в клоунской одежде, он бежал куда глаза глядят, сопровождаемый недоуменными взглядами, свистом и улюлюканьем прохожих, а из проезжавших мимо машин доносились “Фити-Мити” и прочие примитивные комбинации из двух-трех нот, которые в этом мрачном мире так веселили и утешали людей.

КАФЕ “ВСТРЕЧА”

Кафе было на взгорке, маленькое, уютное. С открытой веранды видна была выложенная плитами дорожка, ведущая вниз, к трассе, а с трассы веранду разглядеть было трудно — деревья

мешали. На веранде за столиком, у самых перил, одиноко сидела девушка и неотрывно смотрела в сторону трассы. Казалось, девушка как подседа к столику на краешек плетеного стула, так и осталась, не шелохнулась. Лишь иногда губы ее шевелились словно в неслышной молитве. По каким-то неуловимым признакам видно было, что она не городская. На веранде других посетителей не было, а в зале несколько столиков были заняты, да в одной из кабин уединилась парочка. Если не считать еще двоих в окружавшем кафе интимном скверике, за кустами сирени, на скрытой от взглядов скамейке... Мимо девушки то и дело пробежала молоденькая, пышногрудая, с высветленными под лен волосами официантка Нанар. Наконец, искоса глянув на девушку, Нанар подошла к столику.

— Сидишь тут целых два часа, а ничего не заказываешь! Так нельзя!

Девушка подняла на официантку испуганный взор, замерла.

— Подцепить кого-то хочешь? — строго спросила Нанар.

— Я жду, — прошептала девушка. — Сейчас приедет...

Нанар рассмеялась, колыхая грудь под нарядным топом.

Спросила с издевкой:

— Кого же ты ждешь? Это тебе не зал ожидания!

— Жениха, — еле слышно выдохнула девушка.

Нанар прыснула со смеху, но, услышав властный голос шефа, поднимавшегося по лестнице на веранду, тут же юркнула в зал.

Девушка оправила худенькой загорелой рукой серую заносенную юбку, разгладила на столике синтетическую скатерть и снова, подавшись вперед, стала смотреть в сторону трассы, прожоя глазами машины...

Из сквера тянуло сиренью, по ясному небу плыли два белоснежных облачка-близнеца.

Нанар снова появилась на веранде, уже с подносом, поставила перед девушкой чашку.

— Угощаю! — сказала она более мягко. — Очень вкусный кофе!

— Да, — сказала девушка, словно не слышала, словно ответила самой себе.

Чашка так и осталась пряно дымиться на столике.

— Значит, жениха ждешь? — спросила с любопытством Нанар и, снова оглядев девушку, прикинула: — Переспать с тобой хочет, вот и все!

— Что вы! — испугалась девушка, — Он не такой!

— Не защищай! Все они одинаковые! Уж я-то их знаю! — изрекла Нанар.

На веранду поднялась молодая женщина лет двадцати восьми. Осмотрелась, спросила девушку: “Можно за ваш столик?”

— Да, — рассеянно ответила девушка,

Казалось, у нее была устремленность за грань всего, что ей говорили.

Молодая женщина повесила на спинку стула светлую вместительную сумку и, закурив, задумалась.

На веранде воцарилась тишина.

Ушли из зала, о чем-то негромко споря, посетители, шумно сбежал по лестнице шеф, уединившаяся в кабине парочка не подавала признаков жизни, и Нанар, обслужив молодую женщину, села рядом с ней за столик и облегченно вздохнула.

— Набегаешься с утра, а вечером танцуй им тут еще! — Она вскочила, задрала повыше топ, потянула вниз юбку, оголив пупок с пирсингом, и ловко крутанув бедрами, снова села. — Танец живота! У меня специальная одежда есть, с шефом покупали... А ты чего кофе не пьешь? — спохватившись, спросила она девушку. — Не любишь? Тогда я выпью. Остывший кофе тоже сойдет!

Выпив кофе, Нанар аккуратно перевернула чашку на блюдце, промокнула салфеткой губы.

— А чего ты его здесь ждешь? — поинтересовалась она.

— Он на ремонтных работах. Кончит — заедет за мной.

— Принц на белом коне! — мягко улыбнулась молодая женщина, потягивая из трубочки апельсиновый сок со льдом.

— На машине, красной, — возразила девушка и тоже широко улыбнулась. В голосе ее проскользнула гордость.

— Что в тебе стоящее, так это зубы, — оценивающе сообщила Нанар. — А все остальное — ничего особенного.

— Нет, почему же... — заступилась за девушку молодая женщина.

Девушка виновато потупила взор.

— Может, еще скажешь, что у твоего жениха своя собственная машина?

— Своя! — Щеки девушки покрыл слабый румянец. — Они у нашей деревни дорогу чинили. А я поесть им носила... Так и познакомились...

— Любовь с первого взгляда! — решила молодая женщина.

Девушка стыдливо опустила голову.

— У меня тоже была любовь с первого взгляда, — разволновалась Нанар. — Поехала в город волосы покрасить, шеф разрешил, а каблук вдруг сломался. Стою на улице, в руке каблук. Подходит он. Глаза добрые, смеются... Тут рядом сапожная мастерская, говорит, я вам помогу! Меня на табуретку усадил, деньги за меня сапожнику дал. И ушел. Я потом, как в город поеду, сразу к этому сапожнику бегу. Нет, говорит, не приходил. Ты, говорит, постой там, где каблук сломала, может, и встретишь. А как постоишь, когда времени у меня в обрез! Только имя его знаю: Артем. Ведь вместо меня заплатил! А за что? Что я ему хорошего сделала? Не то что другие: сразу в постель норовят затащить!

— И то верно, — согласилась молодая женщина и, вздохнув, снова закурила. — Знаете, девочки, о чем я мечтаю? О романе. Хотя бы на шесть месяцев. Чтобы я его любила, и он меня. И никто другой нам не нужен был.

— Ишь чего захотела! — воскликнула Нанар.

— Замуж, наверное, не получится, но о романе мечтаю, — повторила молодая женщина. На милом лице ее блуждала робкая улыбка.

Шумной гурьбой прошли к залу человек шесть-семь мужчин. Нанар вскочила. Один из них, тучный, в аляповатой майке, шепнул что-то Нанар на ухо и провел рукой по ее ягодицам. Нанар шлепнула его по руке, а он стукнул ее по лицу, еще раз, коротко, но больно. Нанар покраснела до корней льняных волос, метнулась к столику.

— Пристает кто ни попадя... Зато у меня была любовь... С первого взгляда, — всхлипнула она и поплелась в зал.

— А я мечтаю о романе... Хотя бы на несколько месяцев, — ни к кому не обращаясь, словно самой себе сказала молодая женщина.

На веранде снова воцарилась тишина. Тишина ожидания. Девушка, подавшись вперед, смотрела в сторону трассы. Но вдруг она, вскочив с места, поспешно подняла лежавший у ее ног небольшой, выдавший виды саквояж и, перехватив его из руки в руку, кинула молодой женщине: “До свидания!”, стремглав сбегала по ступенькам и помчалась по дорожке вниз.

Два белых облачка-близнеца исчезли, чистое, ярко-голубое небо сияло. Из скверика тянуло сиренью, из зала — сигаретным дымом, смешанным с запахами выпивки и еды.

Молодая женщина осталась на веранде одна. Задумалась. Мимо пронеслась с пустым подносом Нанар, с полпути вернулась.

— А где девчонка?

— Побежала, наверное, к своему жениху! — улыбнулась молодая женщина.

— Ой дура! Все они сначала женихами прикидываются! Я ведь как здесь оказалась? — Нанар понизила голос до шепота. — Отец ночью пьяный пришел, ругался, хотел избить. После смерти матери совсем спился. Я и убежала. Стою на шоссе, ночь, страшно. Подъезжает машина, парень за рулем спрашивает: “Куда?” “В город, — говорю, — подруга там, в общежитии, на заработках”. Но он меня не в город привез, а в какую-то хибару, купил колбасу, хлеб, пиво, водку, лимонад... Он, наверное, мне что-то подсыпал, потому что я сама не своя стала. “Я на тебе женюсь”, — говорит. Ну и... До этого я чистой была. Утром Роб, так его звали, позвонил по сотке какому-то Вле, тот меня к себе на дачу повез... Тоже, наверное, что-то подсыпал... Потом друзьям позвонил... В конце концов один из их знакомых, электрик Мисак, меня сюда привез... Шеф строгий, знакомства заводить с мужчинами не разрешает. В город пускает только к парикмахеру или одежду купить... А по вечерам здесь полным-полно народу, и я танцую. Талант у меня такой с детства... Тридцать процентов дохода мне, семьдесят — шефу. Он мои деньги в сейфе прячет... Но я все равно убегу, украду свои деньги и убегу. Встану на улице, где каблук сломала, может, встречу Артема...

Молодая женщина слушала, прижав к груди скрещенные руки, словно ей было холодно. В глазах застыла боль.

— Сил больше нет терпеть, — как бы извиняясь, призналась Нанар. — Роб пригрозил, что убьет, если кому-нибудь расскажу. Вле тоже... Но вы мне сразу понравились, как будто я вас всегда знала... А вообще я молчу, — Нанар приложила к губам палец.

На веранду выглянул повар: “Нанар, тебя клиенты зовут!” — и скрылся.

И тут внизу, на трассе, что-то оглушительно грохнуло-взорвалось. Нанар и молодая женщина, охнув, бросились к перилам. На веранду выбежали и сидевшие в зале, и уединившаяся в кабине парочка, и даже та, другая, что скрывалась в скверике, вышла из-за кустов сирени. А только что вернувшийся шеф сообщил, что “КРАЗ” наехал на “тойоту”. И есть жертвы.

— “Тойота” красного цвета? — спросила в ужасе молодая женщина.

— Не разобрал... Там такая каша!..

— Красного цвета! Красного цвета “тойота”! Я так и знала! Бедная девчонка! Жених! Они погибли! Почему, почему всегда

все плохо кончается? Даже любовь с первого взгляда?! — истерично кричала Нанар.

Многие побежали вниз, посмотреть, кое-кто вернулся в зал. Шеф заперся в своем кабинете. На веранде остались только двое: Нанар плакала, к тому же она не имела права покидать свой пост официантки, а у молодой женщины, усиленно сморкавшейся в платок, видимо, сдали нервы.

Между тем по выложенной плитам дорожке поднимались к кафе “Встреча” два оперативных работника. Разыскивалась жительница села Сарахпюр несовершеннолетняя Нанар Жоржиковна Папикян, которая, согласно заявлению отца, девятого сентября прошлого года убежала из дома и пропала без вести.

Над кафе нависла казенная тень полиции, столь несовместимая с ароматами интимного скверика. Нанар на веранде плакала. Ей и в голову не приходило, что через считанные минуты начнется долгая и унижительная волокита с допросами, судебными экспертизами, очными ставками... И кто-то из всех этих робов, вле, мисаков и прочих откупится, а кто-то нет... В конце концов Нанар отправят обратно в Сарахпюр, где к пьяной ругани и побоям отца прибавится поползшая по селу дурная слава о ней. Так что, возможно, Нанар снова убежит из дома и без вести пропадет.

Но в те минуты, сидя на веранде вместе с молодой женщиной, она оплакивала погибших в аварии, утирая слезы концом синтетической скатерти. По выложенной плитам дорожке поднимались оперативники, и, поскольку они были в штатском, их вполне можно было принять за очередных клиентов.

А в сторону Еревана мчалась красная машина марки “Жигули”, и худенькая загорелая девушка в заношенной серой юбке счастливо улыбалась, доверчиво прислонив голову к плечу парня, сидевшего за рулем.



Владимир Пальчиков ИЗ АРМЯНСКОЙ ПОЭЗИИ

Интерес к Армении у русского поэта Владимира Пальчикова (Москва) возник более тридцати лет назад. Пожалуй, сегодня он один из лучших переводчиков нашей поэзии – как классической, так и современной. В октябре прошлого года на Втором международном форуме переводчиков в Ереване ему была вручена медаль Союза писателей Армении за заслуги перед армянской литературой.

Предлагаем новые переводы В.Пальчикова из А.Цатуряна и О.Ширази.

АЛЕКСАНДР ЦАТУРЯН

ГРАМОТА

*Возлюби перо, возлюби
письмо, книги возлюби.*

Саят-Нова

За труд, малыш! – читай, пиши,
Будь среди книг не гость, а свой.
Знай, грамотные малыши –
Уж точно парни с головой!

Не будет жизнь скудна, пуста,
Коль в письмена ты с детства вник.
Тебя умчат мысль и мечта
В любую даль на крыльях книг.

Поймешь, усердный книгочей,
Что значат жизнь, добро, вражда,
Плач горек — чей, смех легок — чей,
Кто грабит бедность без стыда.

Сдружись со словом, со строкой,
Я очень этого хочу, —
Откроешь в сердце клад, какой
На зависть даже богачу.

Для неумного ума
Нет в мире темного угла.
В тебя вселенная сама
Войдет, безмерна и светла.

Жизнь — что стихия: волн гряда
Уносит в гул, в простор морской...
Плывем! Откуда и куда,
К заветной пристани какой?

Поймешь: добро в чести всегда,
Нам без него спасенья нет.
И в чем людей нужда, беда.
И что есть тьма. И что есть свет.

Не потакай себе ни в чем,
Учись, читай, упорным будь.
Кто неучен, тот обречен,
Как твой родитель, спину гнуть.

Заместо школы и наук —
Работа в поле с малых лет,
Чтоб наливался, как паук,
Тяжелым жиром мироед.

Бумаг подложных вороха
Спроворил подлый ростовщик —
Дом отнял, не боясь греха,
Добро разграбил, растащил.

Отец — в суды: туда, сюда.
Но в тягость им истец такой.

Он понял: правого суда
Не жди. В земле нашел покой...

За труд, малыш! — читай, пиши,
Премудрость книжную усвой.
Знай, грамотные малыши —
Уж точно парни с головой!

РЫБАК

— Рыбак, рыбак, оставь в покое
Посудину свою —
Встает ненастье тяжкой тьмою
У неба на краю.

Всклубилась даль, гремя, сверкая,
Невольный сея страх.
Взгляни — уже и гладь морская
Вся в белых гребешках.

— От бедствий, сударь, нет покрова!
Что ж, морем я возвращен,
Привычен мне его суровый
Обычай и закон.

Знавал невзгоды, да какие!
Но духом я не пал —
Не зря же под напев стихии
Я в детстве засыпал.

Отца в свой час взяла пучина,
Накрыл жестокий мрак.
А был бесстрашный он мужчина
И опытный рыбак.

И в ней же сгинули два брата.
Таков он, жребий наш!
На плечи рухнула утрата,
Как будто горный кряж.

А все же есть веленье долга
Унынью вопреки.

Кувшин носил водицу долго —
Пора на черепки.

От смерти прятаться негоже.
Покуда жив я, мне
Даст море хлеб, и радость тоже,
А после — сон на дне...

Налег на весла с песней громкой,
Поплыл простором вод
Туда, где слился с пенной кромкой
Угрюмый небосвод.

ПЕСНЯ СКИТАЛЬЦА

Небо чужбины, полное зною,
Что рассиялось ты надо мною?
Солнце, ты видишь: средь бела дня
Черная ночь окружает меня.

Странник, скиталец, сирая тень я,
Сердцем иссохшим жду избавленья
От беспросветной доли такой.
Дума о доме гложет тоской.

Рос я в родимом краю у нянек —
Неба и солнца. Ныне, изгнанник,
Жизнь без остатка готов отдать,
Чтоб то тепло ощутить опять.

Родина в зыбке меня качала,
Нежно лелеяла дней начало.
С нею мужал, набирался сил
И человека в себе растил.

Весны родные в памяти святы,
Долы цветные, горные скаты.
Благословенны на все года
Росы отчизны, земля, вода.

Нет, не забуду пажить и поле,
Где мотыльком порхал я на воле

И безоглядно-счастливым днем
Знал, что мир мой и есть мой дом.

Нет, не забуду, братья-крестьяне,
Тяжесть пашни, мудрость преданий!
Солон ваш плач, ярок ваш смех,
Пляска в круг зазывает всех!

Небо чужбины, полное зною,
Что рясилось ты надо мною?
Солнце, ты видишь: средь бела дня
Черная ночь окружает меня.

ПЕРЕД ЗИМОЙ

Подул холодный ветер с севера,
И вот привычный мир исчез,
В нагих садах — засилье серого,
Пустынны поле, горы, лес.

Не видно солнышка оплошного:
В плену у туч оно теперь.
Дожди, туманы — даль обложена
Ненастьем. Надобно терпеть.

Нет соловья, и сад печалится.
Ты где, серебряная трель?
Скворцы и ласточки умчались
К теплу, за тридевять земель.

Плоды исчезли — радость жаркая —
Румяные во всю щеку.
Сад стал пожухлый и обшарпанный,
Как лист-отрепыш на суку.

Старик-садовник неприкаянно
В промозглой хижине присел.
Печально саду и хозяину —
Ведь нынче оба не у дел.

С полей собрали дань богатую.
Пришел конец страде людской.

Но в тягость сошке и оратаю
Их праздный нынешний покой.

Ветра неистовы осенние,
Грозятся близкою зимой,
И плачут в стылом запустении
Небесный мир и мир земной.

ОВАНЕС ШИРАЗ

Скорбь мою отдаю ветрам, но ветрам она не нужна.
Скорбь мою отдаю морям — и морям она не нужна.

Скорбь мою не берет мой друг, не нужна она другу, нет.
И возлюбленной скор ответ: не нужна, ну конечно, нет.

Скорбь мою отдаю камням — камни молча глядят во тьму.
Скорбь мою отдаю горам — и горам она ни к чему.

Веку скорбь мою отдаю — незадача опять:
Груз безмерный скорби моей он не в силах поднять.

Скорбь сестре отдаю, сестра лишь вздохнула: “Прости”.
Мать взяла мою скорбь. И та стала прахом в ее горсти.

ЭКСПРОМТ

Мы были мирны, как наши горы,
Вы вторглись злобно, как дикий ветер.

На вас мы встали, как наши горы,
А вы завыли, как дикий ветер.

Мы здесь, мы вечны, как наши горы,
А вы исчезли, как дикий ветер.

Жалея мать, беспутным стану.
Пусть крикнет гневно: “Позор буяну!
Он столько горя мне принес.
Не стоит малый любви и слез!”

А если сгинет беспутный малый,
Кто огорчится? Никто, пожалуй.
Поплавав, мать обретет покой —
Был ей в обузу сынок такой...

Но пусть глуха, темна судьбина,
Мать не откажется, нет! — от сына,
Будь он превыше луны и звезд
Или балбес, шалопай, прохвост.

Подошла крохотуля, черноглазое диво,
Солнышко, что осчастливит завтрашние времена.
Яблоко протянул ей красное, а она
Имя мое пролепетала —
С грехом пополам, но учтиво.
Прими умиление и ласку,
Ведь еще далеко до срока,
Когда вольностей не потерпишь,
Станешь отменно строга.
Орлицей станешь! Глянeshь как на врага!
И в ярости вырвешь прочь мое орлиное око.



Лариса Геворкян
КАК ТЫ, ДОЧЕНЬКА?

Перевод И.Маркарян

Человеческая память не терпит насилия. Сфера сама по себе исключительная, она и в этом плане тоже необыкновенна. Человек помнит то, что хочет помнить. То, что не желает и не может забыть.

Всякое воспоминание, живущее вместе с человеком, сроднившееся с его сутью, в любой временной перспективе, при всех возможных пространственных преобразованиях изначально призвано обрести собственную жизнь. Жизнь воскрешенную и, тем самым, воскрешающую. Ибо искренне пережитое не исчезает, равно как не исчезает и ничто другое.

Мы, миряне, пребывающие в вечном настоящем, каждый на собственном, избранном им пути самовыражения, в меру изначально присущих нам врожденных (или, точнее, дарованных Богом) и приобретенных человеческих способностей, которые, как и людские типы, крайне индивидуальны, — мы, невзирая на все наши переменчивые устремления, чем дальше уходим от нашего детства, тем ближе оказываемся к нему.

Вспомним чудесное изречение из Священного писания — слова Христа, истинность которых сродни математической формуле: они с равным правом могут быть отнесены к неповторимой для каждого из нас поре детства: “Ибо, где сокровище ваше, там будет и сердце ваше”.

Мысль замечательная!

Мои сокровища собраны не только в Земле моей, полной чудес, но и в детстве, прожитом мной на этой Земле. Если бы мне волшебным образом вдруг было дано начать жизнь заново, среди тысяч и тысяч я стала бы искать тех немногих, чья индивидуальность сообщила глубинный смысл важнейшему этапу моей

жизни. Тех, кто собой, своим подчеркнуто традиционным, истинно армянским бытием и менталитетом, укладом и повадкой, даже смехом и печалью, и будничной беседой, и своей незамутнённой любовью к детям — заменил нам мудрость многих толстенных томов, хранящихся в богатейших библиотеках мира. Они совершили это ещё и своей мученической, но чистой до святости и потому всеочищающей и освящающей аурой. Они стали ковалями, незримо выковывающими человеческое в человеке, делающими армянина ещё большим армянином. И даже не ведали о том, какую исключительную миссию выполняют, когда учат пришедших в наш мир быть и оставаться армянином, тем самым ненавязчиво питая умы человечностью.

Во все времена я считала их самыми непосредственными моими кровными родичами — людей, с которыми вовсе не была связана по крови. И если б нужно было начать всё сначала, именно их я стала бы искать...

Детство было самой прекрасной и самой тёплой порой в моей жизни, дерзкой и противоречивой, полной ожиданий и обманутых надежд, щедрой на восторги и разочарования, обретения и утраты, смертельные падения и рождения заново. Не мимолётно-поверхностное, а глубинное, цельное, насыщенное пристальными наблюдениями, оставившими неизгладимый след. Ему не чужды были и печальные лики. Живое присутствие некоторых людей я ощущала в самые разные, и весёлые и трагические, мгновения моей жизни. Я слышала их добрые голоса, неслышные для других, ловила их взгляды, невидимые остальным.

“Как ты, доченька?” Ежедневный вопрос двух достойнейших женщин, этот единственный в своем роде, простейший и обыденный вопрос, который человек каждый божий день адресует себе подобным, я по сей день ищу среди людей. И не нахожу. Как не нахожу и тех, что с неизменной улыбкой произносили эту приветливую фразу: две Души, деликатнейшие и хрупкие, давно смотря на меня с небес, каждый божий день с неизбывной любовью повторяя: “Как ты, доченька?”...

Я выросла в районе Еревана, который назван по имени одной из древних областей Западной Армении и соседствует с Бутанией и Нор-Арешем. Таких наименований, призванных утешить, мало-мальски смягчить боль моих соотечественников, в столице уже в те годы было немало. Вокруг меня жили репатрианты из разных концов мира: французские армяне, армяне из Полиса (Константинополя), из Халеба и из Бейрута, из Сасуна и Кесаба,

Карса и Муша, Эрзерума, Аинтапа и Гарахисара... Рядом с явно преобладающими западными армянами жили, конечно, и восточные — ленинканцы, апаранцы, армяне из России и из Грузии... Как бы я ни старалась добросовестно перечислить всех, непременно кого-нибудь да пропущу.

Мое окружение, образованное людьми замечательными, было неким прекрасным горнилом, именно в силу этого — теплым и уютным. Среда, в которой я выросла, была для меня школой — без классных комнат, без доски с подушечкой, мелом и указкой, без просторной учительской. Здесь не было переменок, чтобы, заскучав или утомившись от занятий, вырваться из класса на волю. Чтобы с облегчением перевести дух. Были учителя, которые не получили специального образования и не имели дипломов, никогда не считали себя педагогами, однако именно у них самозванцам, именовавшим себя педагогами, было чему поучиться. Ибо вдобавок к тому, что умели говорить, они умели и слушать. И не только старших, что почему-то считается непреложным, но и младших, которым тоже порой есть что сказать. Были учителя, к которым ученики тянулись и всерьез огорчались, когда звонок сообщал о конце “урока” — не принудительного, не навязываемого им против воли. Неслышный звонок — с урока, который не ограничен во времени и который хотелось длить и длить...

После этой школы все дальнейшие — общеобразовательные, которые мы обязаны были посещать, так как это были годы всеобуча, то есть обязательного всеобщего обучения, — были слишком примитивны, убоги и неинтересны. Сопричастности не было... Учителя здесь совсем не походили на тех, какие у нас уже были, у кого мы успели поучиться. За редким и отрадным исключением. Я любила этих окружавших меня людей. Это были наши соседи.

Нынче, удивительное дело, соседей не только не замечают, но и попросту не знают, ибо предпочитают эгоцентрический, обособленный способ существования. Каждый стремится перво-наперво полить свое дерево, чтобы уж потом ... поливать его же.

Я часто спрашивала западных армян, каким путём они прибыли в Ереван: пароходом или поездом, по воздуху или по воде? И когда прибыли. Но никогда не задавала вопроса, как и почему они оставили всё что имели и объявились здесь. Мала была, и мне даже в голову не приходило, что можно спросить об этом. А если б и спросила, моей детской душе и уму не под силу было бы уразуметь суть ответа. Всему нужно созреть — и вопросу, и

ответу. Созреть должно и их постижение, что даётся не легче, чем умение сформулировать вопрос и ответ.

Детские годы неизгладимо запечатлелись в моей памяти преимущественно в идиллических тонах, до предела наполненными особым, непонятым для нашего времени альтруизмом, по большей части деятельным, ищущим. Не знаю, может быть, оглядываясь назад через десятилетия, таким детство видят все...

Я любила наших соседей, с которыми мы жили как одна семья — со всем, что случалось хорошего и плохого, со всеми нашими серьёзными и чепуховыми, существенными и несущественными различиями. Все было ясно и просто, первозданно просто.

Стояли пятидесятые-шестидесятые. Сейчас я иногда думаю: может, оттого, что это были годы после Большой резни и Великой Отечественной, после крупных массовых кровопролитий, потому и жизнь тогда в массовом, всеобщем понимании была куда более осмысленной? Ведь известно, что только столкнувшись, вынужденно, против воли соприкоснувшись с близостью смерти, только ощутив её запах, человек верно оценивает меру своей утраты. Когда обстоятельства, причинившие ему боль, отрезвляют, заставляя его врасплох. Гораздо чаще человек с непростительным опозданием возвращается к своим потерям. И тогда, открывая для себя более гармоничные, а следовательно, и более легкие способы существования, он может наставлять других: мудреет на собственном опыте.

Среди наших соседей были демобилизованные военные высокого ранга и рядовые, прошедшие через горнило Великой Отечественной, а также ремесленники, рабочие, домашние хозяйки. Интеллигенции было сравнительно мало. Независимо от рода занятий все они были добрые работяги. Земные создания, наделённые совестью — самым драгоценным из человеческих достоинств. И не важно, что они делали, — важно, что не гнули совесть человеческую, хитро приспособивая ее к тем или иным явлениям, ситуациям, лицам. Если б нашлись таковые, наверно, следовало бы держаться от них подальше. Но таких не было, чтобы их избегать. Они не давали себе заржаветь от душевной лени — самого непростительного из грехов как на земле, так и на небе. Были трудолюбивы и обладали неиссякаемым чувством стыда. Не перед другими — перед собой, что куда ценнее. Жили не без духовных усилий — старались подавить в себе присущие всякому смертному мелкие страсти, искоренить достойные порицания крошечные соблазны. “Большой мечты маленького челове-

ка” в душе не лелеяли. Но неустанно подавляли, вероятно, временами поднимающего в них голову злого, подлого, трусливого человечка, просыпающегося завистника, гордеца, недоброжелателя. Чтобы соответствовать всеобщей атмосфере альтруизма. Чтобы быть в гармонии с тем беспримечным альтруизмом, который даже в воспоминании, рассматриваемый сквозь призму прожитых лет, не перестает оставаться таким безукоризненным и таким желанным, просто-таки завидным.

Они не родились героями — стали ими в боях и в мирной жизни: каждый истово старался сделать ближнего лучше. И Генделями не были, чтобы суметь, как он, изречь: “Мне было бы жаль, если бы моя музыка всего лишь развлекала людей. Я желал сделать их лучше”. Они не говорили — делали, что опять же куда важнее. Другой вопрос, был ли вклад каждого достаточным, делалось ли всё что возможно, всё необходимое? А то, что делалось, было очевидно и сомнений не вызывало. Может быть, они наслушались лозунга “Поднимай, чтобы подняться”? И недостатки свои скрыть не пытались. Едва заметив, старались их исправить, чтобы не добавлять к тому, что есть, ещё и грех самообмана. Ведь пороки от этого становились весомее, в то время как они предпочитали жить легко и безгрешно. Далекими были от совершенства, ибо были не богами, а простыми смертными.

Встречались среди них и лицемеры, пустозвоны, витии и фразёры... Уже гораздо позднее, читая Конфуция, я буду удивляться классификации, предложенной великим мыслителем, которая представляется мне спорной. По сей день меня поражает, что он не только признавал три категории полезных друзей: прямого друга, друга искреннего и друга сведущего, — но и допускал существование вредных друзей, не отрицая их важности. К последним, по его словам, относятся льстецы, болтуны и лицемеры. Обратите внимание: вредные, но друзья! Может статься, и в наше время Конфуций нашел бы себе единомышленников. Насколько, оказывается, условны и растяжимы границы понятий полезного и вредного, а также друга и врага. Есть вещи, которые, прожив целый век, ну, или хотя бы полвека, можешь так и не постичь. Просто не понимаешь — и всё тут! Видно, тебе это не дано.

Это были люди, плечо к плечу, бок о бок кружащие в общем танце, поющие одну общую песню. Хорошо это было или плохо, нам известно. Известно также, что было в том хорошего и что плохого. Какие-то вещи нам по сей день внушают отвращение, другие справедливо будят ностальгию. В подобном дифференцированном подходе мы совершенствовались десятилетиями.

Сегодня всё иначе. Ныне, к сожалению, и подростки, и молодёжь дни напролёт глаз не отрывают от телеэкранов, заполнённых нездоровой эротикой и грубым насилием, крутят дома малоформатные копии фильмов ужасов, проверяя их действие на близких, а вне дома сами слепо копируют их и никак не насытятся в неистовом своём подражании. Да здравствует вседозволенность, прикрывающаяся именем прогресса! Зеленую дорогу всем и всяческим прегрешениям, извращениям, спекуляциям, которые, вместо того чтобы упрочить, подрывают, а то и вовсе опрокидывают основы добропорядочного духовного облика нации...

Как передать бедной теперешней ребятне детское ликование твоё и твоих сверстников, когда выпадало счастье пожевать жвачку из сока горных трав — сари цамон* — или смолку? Как ни ищи верные слова, какую ни придай им интонацию — ведь засмеют! Горная “жевательная резинка” была куда приятнее, вторая, смолка, очень быстро каменела на зубах. Жуёшь сари цамон, и скоро небо твоё обволакивает вкусом и ароматом гор, где её собирали. И ты должен был любить свои горы, чтобы дожждаться этого вкуса.

Как передать охватывающее тебя восторженное изумление, когда ни свет ни заря поднимаешь на ноги всех соседских ребят — ну, или они тебя, — потому что на столичной улице, прямо рядом с грузовиками и легковушками, вдруг объявляется самый что ни на есть настоящий, живой навьюченный ослик. Опасливый хозяин надевал на него потёртое, пёстрое от заплат седло и набивал хурджины красной, с налипшей землёй, морковью. Как мы жалели хозяина осла, который, взвешивая морковь, царапал руки покупателей нестриженными ногтями, чёрными от набившейся земли! Морковь покупали все, даже те, кому она в этот день была не нужна. Покупали, чтобы этот человек поскорее закончил свои дела в городе и мог вернуться домой. Жалели мы и недоумевающего ослика, который чуть свет медленно брёл, цокая копытцами, по чисто вымытым, дышащим утренней свежестью улицам Еревана в сопровождении ватаги восхищенной городской детворы: не каждый день выпадает счастье увидеть живого осла! Деревенские дети потом станут называть нас “выросшими на асфальте” — на раскалённых плоских тротуарах улиц. Мы любили запах свежеполитых мостовых, который будил нас каждое утро, потому что любили наш город...

* Буквально — горная жвачка.

Сейчас дети собираются ватагой, чтоб поучаствовать в каком-нибудь фестивале, и мимоходом им предлагают порисовать на асфальте, на плитах тротуаров, на стенах домов, на камнях фасадов. Начеркать что-то и не стереть, бездумно расписаться где попало и забыть про свои каракули — это, конечно, прекрасный способ выплеснуть отрицательные эмоции, время от времени накапливающиеся у каждого из нас. Что это помогает как-то сбросить внутреннее напряжение и успокаивает в ситуации нервного срыва — отрицать не стану, однако с чего же начинается родина, если не с твоей земли и со стремления оберечь эту землю от таких вот писак и плевак?..

Трудно теперешнему ребёнку понять и наш тогдашний детский восторг при виде кастрюль, сковородок и вёдер, которые начищали песком наши бабушки. В поте лица они скребли и тёрли до тех пор, покуда те не заблестят под их руками, не засияют как новенькие. И с натугой разгибали затёкшие спины, проходя давая нам урок того, что нигде и ничто на свете без труда и усердия не заблестит. Мы любили их шершавые, загрубевшие от песка руки, которые, лаская нас, слегка царапались...

Наши незримые утраты, большие и малые, позднее часто посещают нас, перевоплотившись в воспоминание. И здесь важно ещё и твоё ощущение в этот момент: плохо, когда что-то вспоминаешь со стыдом. Как объяснить, почему, когда ваш ребенок приходит домой в слезах и жалуется, что его побили соседские дети, вам не приходит в голову первым делом спросить зарёванного малыша: “Где у тебя болит?”, а не набрасываться на него всем домом с воплем: “Кто это сделал?!” Будто собрались защищать его от злодея-турка. Будто одного плачущего ребенка мало и вам нужен ещё и второй и свара взрослых в придачу — с упрёками и бранью. Ничто не старо в этом мире. Но нет любви. Нет любви как к людям, так и к явлениям. К земле, к улице, к тротуару, к соседу... А ведь все делается гораздо проще, когда есть любовь...

Моя подруга Сирарпи однажды поделилась досадой: “Ты замечала, что парни, стайками торчащие на тротуарах, каждые пять минут азартно сплёвывают на асфальт? Они на свою землю плюют, на родину свою плюют...” Я восприняла замечание с той же нескрываемой болью, с какой оно было высказано. Твоя верность соотечественнику, ближнему, сородичу контролируется негласным законом — так заведено от века. И если случится нарушить её, в согласии с этим законом будешь справедливо наказан. Ибо существуют обязательства, которые в комментариях не

нуждаются. В отношениях людей встречаются поразительные примеры, когда один человек хранит верность другому добровольно, не принуждаемый ничем, не состоя с ним в кровном родстве. Вообще не будучи как-либо связан с ним или от него зависим. Тут уже вступает иной закон — неписанный закон совести. Верность, в чём бы она ни проявлялась, есть бесценное качество, делающее человека человеком. И земля наша в особенности нуждается в ней во все времена.

Мой отчий дом находится на одной из оживленных улиц Еревана. От неё по не слишком широкой асфальтированной дороге можно пройти до зеленых ворот, ведущих в наш сад. В саду у нас были плодовые деревья — росли абрикосы, шелковица, сливы, черешня, лозы белого и сладкого винограда. Был у нас и инжир — тогда еще невысокие кустики, сегодня они стали громадными деревьями. Росли в нашем дворе и ягоды. Кто первым обнаруживал спелую темно-красную малину или ежевичку, ликовал несказанно. А за цветами — разными сортами роз, пионами, тюльпанами, нарциссами, лилиями — ухаживала в основном мама. Иногда, когда разговор заходит о рае, в мозаике лиц и чистейших человеческих взаимоотношений моего детства передо мной предстает наш цветущий, щедрый сад. Природа не пожалела здорового, яркого изобилия своих даров для этого лоскутка земли, в который было к тому же вложено столько человеческой любви и заботы.

Нас, детей, было трое, и три большущие шелковицы росли у нас в саду, у каждого — своя. Моя была та, что росла ближе всех к дороге, перегруженной транспортом. Ещё дошкольницей я любила стоять у наших зелёных ворот (почему-то я всегда мечтала, чтобы они были синие) или усесться на самой высокой ветке моей шелковицы и поджидать ... двух пожилых женщин — сестёр Сару и Србуи.

Старшая, сестрица Сара, была высокая, худая и угловатая. Седоволосая, печальная, она редко улыбалась. Иссохшей рукой, несмотря ни на что сохранявшей следы былой красоты, она тихонько вытирала отутюженным платочком огромные потухшие глаза, чёрные и всегда мокрые. Потом убирала его в карман — всегда безукоризненно чистым. А я была ребёнком и ещё не знала, какая страшная свершилась в мире несправедливость, та, что, по мнению некоторых, не коснулась нас, восточных армян. Глупости, ещё как коснулась!

Тогда у меня были весёлые, жизнерадостные родители. В нашем доме, полном света и людей, всегда стояли шум и суета. Я

не понимала, отчего эта женщина всегда молчит и вздыхает, когда другие радостно хохочут. Это было недоступно моему пониманию.

Сестрица Сара почти не разговаривала. В лучшем случае коротко отвечала на заданный вопрос. Возможно поэтому я, будучи “почемучкой” по натуре, стеснялась и сдерживала себя, стараясь не докучать ей расспросами. Ее молчание по сей день самое красноречивое из известных мне. Я любила расчесывать её поседевшие длинные волосы — иногда она великодушно позволяла мне это. Вдоволь наигравшись, я заканчивала работу, скрепляя убранные волосы гибким светло-коричневым гребнем — другим она упрямо отказывалась причесываться. А когда сестра Сара уставала и не могла больше сносить то, что доставляло мне столько удовольствия, она говорила: “Довольно, доченька, будь так добра”. Но произносила это так ласково, с такой деликатностью: как бы невзначай меня не обидеть! И немедленно повязывала голову мягким черным платком. Чтобы никто вдруг не увидел ее простоволосой.

Сёстры и дома и на улице с ног до головы одевались в чёрное. Домашние тапочки и те у них были чёрные.

Младшая, сестрица Србуи, была яснее лицом, пониже ростом. С согбенной спиной, чуть горбатая, за что я её очень жалела. Без палки она из дому не выходила — трудно передвигалась. Она была более общительна, чем старшая сестра. Иногда бывала даже смешливой. И так хорошела, когда смеялась или хотя бы улыбалась! Но это случалось так редко.

Встречая меня на улице, она непременно спрашивала с приветливой улыбкой: “Как ты, доченька?” Я жила чарующим звуком этого вопроса, согревалась внутренней силой этих трёх коротких слов. Она относилась ко мне как к взрослой. Точь-в-точь как мой отец. И это мне нравилось, как всякому ребенку, который считает себя взрослым. Не знаю почему, но я всегда с нетерпением ждала их появления.

Язык моих западноармянских соседей, и пожилых сестричек в том числе, отличался от восточноармянского. Мне он больше чем нравился. Если случалось день их не встречать, я убежала к ним домой. Мама подшучивала надо мной, говоря: “Опять к родственникам ходила”. А мы втроём, сплоченные дружеским чувством, изредка обмениваясь улыбками, а чаще просто молча, расаживались на мягких, с круглыми подушечками, низеньких табуретах — у нас таких не было. Сидели подолгу, потому что мне было приятно их общество — людей, которые пусть не были

моими кровными родичами, но кого я считала родными по душе, незаменимыми моими близкими. И подругами. В само понимание смысла этого слова внесли свою лепту две сестры: подружкой кого попало называть не станешь!

Дом Сары и Србуи тоже был каким-то необычным. Тогда я, вслед за моей матерью, сердилась, а сейчас наполняюсь горечью, когда вспоминаю предоставленное этим двум беспомощным созданиям тесное, узкое, тёмное помещение без окон, именуемое комнатой. Электричество там не включалось даже ночью. Еще горше делается, когда вспоминаю соседа, который положил глаз на их каморку, полагая, что даже это слишком много для них — двух женщин, которых жизнь и без того так многого лишила. Этот сосед с семейством впоследствии объявились на нашей улице, и все они до боли не вписывались в принятый здесь традиционно коллективистский уклад. Я даже не запомнила их алчных, корыстолюбивых лиц. Память не терпит насилия...

Я всей душой желала, чтобы сестрица Сара и сестрица Србуи жили под одной крышей с нами. Но они были гордыми. Одинокими, но очень гордыми. Ни у кого ничего не брали. Вежливо отвергали любую предложенную услугу, не забывая ласкового “Спасибо, джанэс*!”

С мужчинами они вообще не общались. В их единственной комнате стояла только одна широкая кровать, всегда аккуратно застеленная тёмным покрывалом. Где спала вторая сестра, я не знаю.

Еду они готовили на керосинке, которую мы освоили гораздо позднее — в жуткие для нас годы холода и мрака в начале девяностых.

Даже их посуда — тарелки, кастрюльки, миски и кружки — отличалась от нашей: у нас дома пользовались алюминиевой или эмалированной. Однако для моего детского восприятия их кухонная утварь была подлинным чудом — она была звонкая, потому что изготовлена из стали или меди, а может, из какого-то другого певучего металла.

В их комнате, наполненной густым ароматом одиночества, сёстры всегда зажигали свечи возле икон и курили ладан. Это тоже было необычно: у нас дома икон не было и свечек не жгли.

* “Душа моя”.

После смерти Србуи сестрица Сара прожила недолго. Когда мы, соседи, ибо близких и родных у них не было, прощались с ними, комната эта выглядела ещё более грустной.

Так впервые боль утраты посетила мою детскую душу. Я больше не была весёлым и беззаботным ребенком. Я по-взрослому страдала, причем не только в самый день похорон — я и сейчас грущу по ним. Я скорбела о прожитой ими одинокой и обкраденной жизни.

С тех пор миновал не один десяток лет, но их образы, полные печали и положившие конец моему детству, я ношу в себе. Горюя и ёжась от жалости. И укоряя себя: почему мы не смогли сделать терпимыми беды сестер, а значит, и саму их жизнь? Как они были одиноки!

Мои познания о геноциде идут от сестричек Сары и Србуи, которые сами были незабываемым воплощением застывшей трагедии. Щадя меня, мать много позже рассказала мне, отчего сёстры были так одиноки и что им пришлось пережить. Из их большого рода в живых остались только они. Между тем чудом спасшиеся сёстры так сильно отличались от всех живущих, словно вовсе не желали продолжать жить.

Рассказывали, что Сара, так и не свыкшаяся с новым жильём, ночами, когда все вокруг крепко спали, кружила по улицам и искала своего сына. Единственного сына, которого турки безжалостно зарубили топором.

Эти наводящие ужас своей дикостью истории были общими для всех моих соотечественников, бежавших из Западной Армении. Я была ребенком, но геноцид для меня отождествлялся с чудом избежавшими гибели и пережившими бездну горя сёстрами Сарой и Србуи, которых я и сейчас, Бог свидетель, люблю всей душой.

Сбор шелковицы — туты в то время напоминал ритуал. Без соседей туту не ели, точно так, как жертвенное мясо — матах, как хаш и хоровац. Ты должен был поделиться своим добром с ближним, даже если он не испытывал в том нужды. И уж тем более, если нуждался.

В дни сбора шелковицы на улицах царило необычайное оживление. Мы собирались всем двором. Все глаза устремлялись вверх, на того, кто будет трясти туту: не поскользнулся бы ненароком, не встал на тонкую ветку. Мы, малышня, вертелись под ногами, но взрослым нужна была наша помощь, без нас им трудно бы пришлось, и потому от нашего присутствия не пытались освободиться. Наоборот, с радостью привлекали к участию в ри-

туале. Приходили все, кроме тех, кого я, пожалуй, ждала больше всех, — кроме сестричек Сары и Србуи. Всё-таки дети — удивительный народ!..

Со своим свекром, выходцем из Муша, приходила милovidная сноха-репатриантка из французского Марсея, юная и неопытная Вардуи, которая однажды, решив искупать своего младенца, набрала воды в эмалированный таз, уложила в него только что проснувшегося ребенка, поставила таз на плиту и... разожгла огонь. Вода уже начала нагреваться, когда в кухню вошел её строгий, вечно сердитый свёкор и спас дитя от неминуемых ожогов. Мы беспокоились, как бы молодую сноху не стали обижать. Но взрослые не позволили бы такого — защитили бы.

Тогда каждый мог не таясь говорить о своих недостатках или просчётах. Мог делать это, абстрагируясь от себя, чтобы не комплексовать. Мог, присоединившись к остальным, так же, как они, смеяться над собственным промахом. Иначе говоря — над собой. И не испытывал при этом никакой неловкости. Замечательное умение! Такое сейчас редкость...

Приходила Ханум — халебская миниатюрная армянка с большой душой. Муж Ханум в то время регулярно ездил шабашничать: тогда это дело не слишком поощрялось — не то что сейчас, когда оно стало вынужденным и приобрело массовый характер. Мама мне рассказывала, когда мы были еще совсем маленькими, а наш отец проходил армейскую службу в Средней Азии, мы все втроём одновременно заболели корью. И эта добрейшая женщина, которая сама с трудом перебивалась и, почитай, одна растила двоих сыновей, весь свой запас сахарной пудры отдала нам и осталась без сахара. Отдала всю, сколько было, сама принесла, не ждала, пока ее попросят. И спасла от смерти нас троих. Благодарность нашей матери целиком передалась нам. Так что я радовалась безмерно, завидя нашу соседку.

Я все высматривала сестричек Сару и Србуи — их не было, не шли...

Приходила наша ближайшая, стена к стене, соседка, которую её муж, беженец из Муша, называл “эндари ахчик” — “тамoшняя” девушка, девушка “оттуда”. Особенно во время застолий, при посторонних. И таким образом увековечил понравившееся ему словечко “эндар”. Именоватъ так свою жену считал своим исключительным, монопольным правом: кроме него никто так её не называл. Нашу соседку звали Пайцар — “светлая”, “ясная”. А по документам Ареват. Иметь два имени казалось нам немного странным, но мы с этим мирились. Да и отчего ж не мириться!

Она и действительно была светлым человеком, в полном соответствии со своим именем. Куска хлеба в рот не брала, пока рядом соседа не посадит. И дети у них такие же, и то же своим детям передали по наследству.

Выходцы из Карса и Муша растили внуков в доме Самсона. Мы все играли, сидя вокруг огромного, овальной формы стола, покуда мужчины в семьях не приходили с работы. В этом доме вырос старший сын Самсона Гамлет, который потом совершил восхождение на Арарат. А тогда это был наш соседский мальчишка, на которого мы поглядывали с почтением, потому как он был самым старшим из нас и жутко серьезным. Все наши радости и беды были спаяны воедино, и это продолжалось целую жизнь.

Самую лучшую, отборную туту раздавали отсутствующим соседям. Это был неписанный закон. Вроде матаха... Я часто вспоминаю себя с тарелкой в руках, несущей что-то съестное в тот или иной соседский дом.

В первую очередь, конечно же, моим любимым сестрице Саре и сестрице Србуи. Они всегда скромно благодарили: “Спасибо, доченька”. Сдержанны были несказанно. Еда их нисколько не интересовала, но они неукоснительно соблюдали правила вежливого поведения, что было более чем поучительно для меня.

Туту для водки мы собирали прямо с земли, шутя и переговариваясь, не жалея ни спины, ни коленок. Удовольствие было безмерно, ибо когда трудишься с любовью, твое усердие переплавляется в радость. Помню бесконечные летние ночи, отданные приготовлению тутовой водки. Процесс перегонки был долгим. Помню соседей, перед которыми мы благоговели: Ашика, Вагинака, Вардкеса, Григора, Седрака, Врежа... Их яркую индивидуальность, искренность, открытость их отношения друг к другу, взаимное уважение и заботу. Не стремление урвать друг у друга, а постоянную готовность помочь, которая наполняла любовью детские сердца, подготавливая благодатную почву для нашего взросления и воспитания. Помню себя всегда в компании соседских детей, неразлучной с ними. В эти ночи мы спали на кроватях, вынесенных во двор.

Вспоминаю воздух, пропитанный запахом тутовки. Это не имело ничего общего с прискорбным явлением алкоголизма. Люди сдержанные, соседи, употребляя горячительные напитки, меры не переступали, только делались веселее и добрее. Мне нравилось, когда они бывали под хмельком. Вспоминаю нескончаемый смех и радость тех далеких дней.

Однако не припомню ни одного застолья, в котором приняли бы участие сёстры Сара и Србуи.

В недоброй памяти девяностые, годы господства мрака, эгоцентрики, оберегавшие собственное благополучие, думали исключительно о себе — только бы не нарушилось их комфортабельное существование. Не имея, кстати, на него никакого права. А на нашей улице ничего не изменилось. Даже когда уже не жила там, я не переставала считать её своей. Повсюду оставшиеся в городе жители подводили “левые” электрические линии в первую очередь к тем домам, где были новорождённые, маленькие дети и старики. Либо к тем, что остались без мужчины. Порой кто-то другой брал на себя роль хозяина, в согласии со старинным обычаем добрососедства. Человек не мог спокойно греться у себя дома, когда его ближние дрожали от холода в потёмках.

Подружка однажды посоветовала мне: “Если сомневаешься и хочешь понять, как к тебе относится человек, скажи ему “До свидания”, отойди на небольшое расстояние и обернись. То, что, оглянувшись, увидишь на его лице, и будет подлинной правдой, которая, может быть, до этой минуты была тебе неясна”. Никого из наших соседей я не подвергла бы такому испытанию. Мне бы даже в голову не пришло. Сейчас я поражаюсь, как удавалось им, всем вместе, дружными усилиями, никого особо не выделяя, создавать такую первозданно здоровую атмосферу любви, предупредительности, взаимной уступчивости! Была любовь по отношению друг к другу. А когда есть любовь, достичь чего бы то ни было гораздо легче.

В дни больших и малых наших сборищ я искала глазами сестричек Сару и Србуи. Их не было. Они не любили суеты. Не имели привычки ходить по гостям.

Мы росли, играя, как игрушками, орденами отца, полученными в награду за беспримерные подвиги на фронтах Великой Отечественной. Люди более дальновидные заботливо берегли их, чтобы в нужное время и в нужном месте кому надо их предъявить. Конечно, они имели на это право. Меж тем моему отцу огромное удовольствие доставляло всего лишь наблюдать наши беспечные игры с ними. Мы надевали фронтовую шинель отца, утопая в ней. Полы волочились по земле, рукава свисали до пят. Мы лезли в военные брюки, очень широкие сверху, а внизу, у голени, резко заузненные и обхватывающие ногу. Не забывали и фуражку с пятиконечной звездой. Брели в руки плосковатый серый котелок, битый, с облупившейся краской и погнутыми боками. Отец таскал его с собой до самого Берлина и все три года

службы в Германии с ним не расставался. Мы брали его с двух сторон за тонкую, но крепкую дужку и раскачивали, раскачивали... Что доставляло нам удовольствие — его лязг или сам процесс раскачивания? Не знаю. Во всяком случае, без этого котелка не обходилась ни одна из наших детских игр.

Однажды в описанном облачении мы пришли во двор сестричек Сары и Србуи. Сестрица Сара только взглянула на меня. Не упрекнула, не проявила недовольства, не пристыдила. Но я поняла, что не должна была приходиться. Больше это не повторилось. Любое, даже отдалённое напоминание о смерти, о войне и гибели людей бередило их раны.

Сестрица Сара однажды коснулась своей худенькой, угловатой рукой длинного шрама на отцовом затылке, который нельзя было не заметить. И застенчиво, едва слышно спросила: “Кто это сделал, сынок, турки?” Завен, мой отец, распространяться об этом не любил и обратил всё в шутку. Я помню, как он смеялся в тот день. Отец очень красиво смеялся. Потому что был честным человеком, а честные люди смеются по-особенному, им одним присущим смехом, который у них красивее, чем у остальных, потому что чище и не искажает, не уродует лицо смеющегося.

Вспоминаю другой день. Света, моя сестренка, заболела. Мама, которая была учительницей русского языка, а вовсе не врачом, но при необходимости делала уколы всем соседям, готовилась сделать ей очередную инъекцию перед сном. Держа в одной руке шприц, а в другой ватку со спиртом, она вдруг застыла в проёме белой двустворчатой двери, ведущей из гостиной в спальню, ощутив толчок. Мама успела только не своим голосом крикнуть: “Бегите скорее, землетрясение!” В мгновение ока мы все повывскакивали из постелей. Уже на улице, где собралась толпа, отец мой вдруг обнаружил, что сестры с нами нет: мы забыли нашу бедную, метавшуюся в жару больную! Он бегом в трусах вернулся в дом и вынес сестрёнку во двор. Нас душил стыд. Как могли мы быть так невнимательными!

Мы и все наши соседи столпились на улице — даже в такие минуты мы были вместе... Подземные толчки, к счастью, не привели к разрушениям. Там, в этом людском сборище, были и сёстры Сара и Србуи. Они всегда плохо спали. Так плохо, что казалось, не спали вовсе. Так что их не пришлось будить. Когда они узнали, как мы самым непростительным образом забыли дома сестрёнку, они до такой степени разволновались, что не сумели скрыть своих чувств. Разумеется, они были слишком хорошо воспитаны, чтобы укорять нас. С умилением глядя на ни о чём не

подозревавшую голубоглазую, покрасневшую от температуры Свету, сёстры наперебой восклицали с ужасом: “Вах, явриким беним^{*}, почему они забыли тебя? Как могли они забыть тебя! Вах, явриким беним!”... Они привыкли дрожать над главной ценностью — величайшим из божественных даров, который мы именуем жизнью.

Моя мать Мигануш удивительным образом сочетала в себе эмоциональность с рассудочностью. Была хрупкой и очень ранимой, с невероятно чуткой душой. Конечно, она тяжело переживала случившееся. Устремленные на дочь её глаза в тот день имели странное выражение. Так смотрят на того, кого могли лишиться навсегда. Я с малых лет наблюдала этот взгляд.

Годы спустя точно такое же горестное выражение я поймала как-то поздним летним вечером в медово-карих глазах моего единственного брата Ашота — когда исчезли последние сомнения и я поняла, что наша мать неизлечимо больна. От меня это тщательно скрывали, потому что у меня был маленький ребёнок. Брат, одетый в мою любимую клетчатую сорочку, понунив голову, бесцельно, как бы между прочим, разглаживал рукой покрывало на второй кровати, стоящей в спальне, — на ней уже давно никто не спал. Разглаживал и время от времени украдкой бросал взгляд на маму, которую, не долечив, привезли домой из больницы: ее уже было не выволить из когтей неминуемой смерти. Брат мой очень красивый мужчина. Был один из грустных закатов, гаснущие лучи солнца освещали его молодое, но заросшее щетиной лицо, задумчивые глаза, зеленоватые от боли, выдававшие плохо скрытую сыновнюю тревогу и ропот любящей души. Отца он потерял, теперь терял мать...

Мне с детства был понятен этот взгляд. Он сопровождает всех смертных. Я научилась читать его язык, выдающий малейшее движение человеческой души. Так смотрят на человека, когда знают, что теряют его... Такое же выражение имели глаза сестрицы Сары, когда ее сестру Србуи, кроме которой у неё никого не было на свете, болезнь приковала к постели. Я поймала этот её взгляд...

Отец только раз рассказал нам, как семи-восьмилетним ребёнком вдруг увидел свою красавицу-мать лежащей навзничь возле копны сена — она была без сознания, а рядом лужа крови, сочившейся из головы. Я навсегда запомнила его в ту самую ми-

^{*} *Дитя моё (тур.).*

нута, когда он рассказывал об этом. Моя память запечатлела не только искажённое страданием лицо отца, но и сквозившее в его голосе смятение сына, который не смог защитить мать. Помню каждую высказанную им мысль, даже печальную интонацию с трудом, чуть не по слогам выговариваемых слов. Я жалела его за это, как жалела сестричек Сару и Србуи.

Очень жалела и маму, отец которой, богатырского сложения мужчина, по злому стечению обстоятельств был сбит машиной и скончался на месте, не успев вымолвить слова. Студеной зимой, среди ночи, бесчеловечно брошенный на асфальте мостовой, когда он возвращался домой с обручения единственного сына. Помню, как мы, дети, вместе с нашим добрым, заботливым отцом накрывали на стол и ждали маму. Мы не начинали есть без нее — никто пальцем к еде не прикасался. Осиротевшая мама часами не шла к столу. Она ложилась на убранную кровать, что обычно строго нам запрещалось и было совсем не в ее правилах, и беззвучно плакала. Отец только курил, и делал это чаще, чем в другие дни. Я жалела маму, как сестричек Сару и Србуи.

Изредка мы ездили в деревню. Я была ещё мала и всякий раз забывала о том, что кроме деда с нами нет и бабушки Вардануш, которой так и не привелось познать сладость внуков. Что она умерла от сердечного приступа и теперь там единолично правит наша неродная бабка — личность, именно в этом своём качестве непрезойдённая. Она была одинока, но всесильна. Я с детским простодушием продолжала, как раньше, свободно бегать из дома в сад и обратно в дом, потом на улицу. А в доме, оказывается, всё было уже по-другому. К буйно разросшимся виноградникам вели несколько широких и узеньких тропок, на одной из которых как-то ранним утром мне преградила дорогу она — высокая и дородная бабка Тамар, вторая жена моего деда Хачатура. Я держала в руке большущую кисть недозрелого винограда — сорвала ее раньше времени. Так часто случается, много чего рвётся раньше времени. Что-то замечают, что-то проходит незамеченным. Ребенку всего не объяснишь... Бабка Тамар пекла лаваш. Однако не поленилась, бросила комья теста, побежала за мной, в гневе с силой ударила по моей руке белой от муки пятернёй и вне себя от злости закричала: “Да кто же сейчас виноград рвёт!” Гроздь упала на землю, полуспелые виноградины, брызнув в стороны, рассыпались у нас под ногами, а незрелые упрямо остались висеть на черенках: их и захочешь — не оторвешь.

Эта взбучка нет-нет да и высверкивала из тайников моих детских воспоминаний и причиняла мне необъяснимую боль...

Я искала сестричек Сару и Србуи, считая их более своими для себя и себя — более своей для них. На следующий день я была уже у себя дома.

Частые поездки в деревню исключались. И мы, дети, нашли другой выход. Мы убегали на соседнюю улицу, где всё очень напоминало деревню. Между собственными домами, между дворишками здесь тёк большой и глубокий полноводный ручей. Вдоль него горожане-пантеисты, которых помню всегда смеющимися, с весёлыми лицами, посадили ивы. Их густые ветви, изгибаясь, клонились к воде, порой мутноватой, но чаще чистой и прозрачной, и погружались в нее. От этого с удлинённых и нежных ивовых листочков всегда капала вода. Потому запах влажной земли тут висел в воздухе. Рядом кто-то посадил единственное душистое пшатовое дерево. Его головкружительный аромат простирался на несколько улиц в обе стороны.

Мы часами играли в выскокой, в человеческий рост, траве у обочины дороги, не подозревая о том, как будем стараться однажды восстановить в памяти эту покоряющую своей первозданностью, напоённую звуками, запахами и красками атмосферу, каждый раз по-новому переживая детство, в котором всё виделось так ясно, будто нарисованное. Словно было освящено.

Я бежала к сестричкам со всеми своими удачами и разочарованиями. Чтобы приобщить их к моим восторгам и горестям. Случалось, я просто молчала, возвращая им то, чему у них же и научилась. Молчала точь-в-точь как они, и так же молча приходила домой, чтобы утром опять убежать туда.

В моем окружении очевидцы резни составляли большинство. Все они скорбели, но мне казалось, никто не ощущал себя в такой степени обездоленным, таким израненным, как сёстры. Часто они до того преображались, что нельзя было понять, живы они или умерли. Они, казалось, искали смерти. А смерть, сёстрам вопреки, упорно обходила их, настигая тех, кто, быть может, ждал её меньше или совсем не ожидал. Они с такой силой отдались своему душевному страданию, что стали совершенно безучастны ко всему. Наверное одна я осмеливалась нарушить это их безучастье, бесстрашно перешагивая очерченный ими круг и ступая в мир, закрытый для других, где царили лишь боль и скорбь. А осмеливалась я только потому, что была ребёнком. В других любовь к жизни проснулась, в них — нет. Турки оставили их в живых, но убили в них желание жить.

В один из дней, когда я пришла к ним, сестрица Сара застонала. Я увидела не прикрытое улыбкой её морщинистое лицо.

Обо всем пережитом, перечувствованном сёстры предпочитали говорить без свидетелей, только друг с другом и всегда по-туречки. Когда человек не хочет улыбаться, но всё-таки улыбается, ребёнок не может это не почувствовать. Я была ребёнком, а они — настоящей школой, которая делала тоньше, восприимчивей мои органы чувств. Где я постигла, *что* есть улыбка и *что* — стон, что такое молчание и его тайна, и ещё поняла, что молчания не стоит смущаться, а надо стремиться понять, расшифровать его... Я начала понимать, что человек может улыбаться, когда ему совсем не до улыбок. Точно так, как делает что-то против собственной воли.

Малейшее упоминание о христианском благочестии приводит мне на ум двух сестёр. Другая наша соседка, бабушка Араксия из Гюмри, иногда читала нам Библию. Эти истории меня захватывали, я не отрывала глаз от толстенной, в черной обложке, потрёпанной книги: у нас такой не было.

Времена были такие, что лицом к духовному мы повернулись лишь гораздо позднее, спустя десятилетия. Какое недомыслие! И в университете нас ждало изучение научного атеизма, проповедующего отрицание того, о чем мы не то что знания — элементарного представления не имели. Можно ли вообразить что-нибудь более нелепое? Даже если да, всё равно это явление из ряда самых абсурдных. Когда ты должен опровергать нечто, о чем ровным счётом ничего не знаешь: ни что это, ни каково оно на запах и на вкус, ни какой у него размер и вес. Ведь при таком раскладе у тебя нет никакого права это нечто опровергать. В действительности опровержение было общепринятым способом отрицания. И тут ты всего лишь исполнитель. Целым поколениям предстояло таким макаром получать образование, а на деле — попросту калечиться. Я не отрывала глаз от зачитанных, поблекших страниц Библии. Но как ни старалась бабушка Араксия внушить нам духовные ценности, она все же не обладала христианским благочестием сестричек Сары и Србуи. Ей от Бога было дано лишь столько. Я более чем уверена, что сёстры жили смиренно и кротко, храня верность всем десяти заповедям христианства, о которых я, подобно многим, даже представления не имела.

Привычка наблюдать за движением мерцающих звезд осталась во мне с детства. Мы с братьями-сёстрами, с родственниками и соседями в тихие лунные ночи, каждый для себя, в уме пересчитывали падающие и новые, загорающиеся звезды. Первые,

мы знали, означали смерть, вторые — зарождающуюся новую жизнь. А новый старт, как всякое начало, конечно же должен быть многообещающим.

Но этот простейший математический подсчёт никому из нас молча произвести не удавалось. Всякое изменение полученного числа сопровождалось грустным или радостным восклицанием. Мы ликovali, когда небо возвещало о новом рождении, и не могли сдержать горестного возгласа, когда очередная закатившаяся звезда предрекала чью-то кончину. Не помню, чего оказывалось больше: предсказанных смертей или благих вестей о новых рождениях. Знаю только, что победителем в этой игре выходил тот, у кого сосчитанных звёзд оказывалось больше.

Раз я спросила сестрицу Сару: “А когда случилась резня, звёзды падали друг за дружкой, по очереди, или скатились с неба все вместе? И что, небо осталось совсем без звёзд?” Она не ответила. Молчала. Так долго, что наступившая тишина стала душить меня и я раскаялась в своем вопросе. Так молчать умела только эта женщина. А я всё же продолжала думать: наверное, небо в самом деле осталось без звёзд, ведь оно стало свидетелем стольких жертв... Словом, едва вступив в жизнь, мы потихоньку привыкали к осознанию смерти. Учились жить на пограничной линии между жизнью и смертью. Это грустно. Быть может, это было нужно нам, чтобы не увязнуть в сомнениях подобно великому мудрецу, сказавшему: “Я не знаю, что такое смерть, ибо не ведаю, что такое жизнь”. Восхождение от грубой, даже вульгарной “статистики” жизни и смерти к их философской трактовке совершалось прямо перед нашими невинными детскими глазами. И я не нахожу, что это случилось раньше времени. Быть ко всему готовым безусловно гораздо предпочтительнее.

У воды странная память. Однажды в минуту откровенности сестрица Сара рассказала мне, что каждый раз при мытье посуды видит в льющейся воде лицо своей покойной матери. Оно встает перед ней из чистых водяных струй. В те дни, стоя у могильного холмика матери, она заметила, что стоящий на могиле крест... качается! От ветра. Но откуда она догадалась об истинной причине, испуг успел совершить свое чёрное дело. Рассказывая о видении матери в воде и о качающемся кресте, она полоскала посуду. Я любила молча наблюдать за ней, когда она что-нибудь делала. Кто знает, быть может, в эту самую минуту она была с матерью. Не знаю, вспоминала ли она крест, переживала ли вновь свой испуг или вглядывалась в лицо матери, мокрое от воды...

Дорога к грустному дому сестёр шла через весёлые, пышно зеленеющие соседские сады. Такие же, как я потом узнала, были и у них на родине.

Для меня под деревьями повесили гамак. Этот сад мне запомнился очень тенистым. Наверно, было много деревьев. Либо кроны сильно ветвились. Так или иначе, солнце сюда почти не проникало и здесь всегда было прохладно. В тот день я осмелела и упросила сестрицу Србуи лечь в гамак, а я её немного покачаю. Она с трудом согласилась. Когда я качала её — надо сказать, с огромным удовольствием, — она вдруг заговорила об их саде. По понятной причине она очень часто употребляла в речи турецкие слова, которых я, разумеется, не понимала. Но мне на помощь приходили интуиция и воображение. Или же я запоминала непонятные слова и спрашивала их значение у других: все вокруг говорили по-турецки, чуть не в совершенстве владели этим языком. Так я одолевала свое незнание. Дети почти всегда находят выход, порой даже изобретательнее взрослых.

Сестрица Србуи не описывала, а живописала. И я видела их фруктовый сад. Видела грядки с базиликом, чабером, петрушкой, кинзой и мятой, разгороженными гибкими молодыми прутьями вишневого дерева. Не связанными наспех, а терпеливо, со всем теплом души сплетёнными в гладкие, тугие косицы... Это был не садовый участок, а полотно на мольберте, картина, вставленная в раму. Отвоеванная у каменистой земли честными руками, которые, даже выпачкавшись в тине, оставались чистыми и совсем не походили на те, что прячутся в белоснежные перчатки.

В её погасших, но честных глазах я искала кармин вишен их сада, яркую зелень яблонь и медовый янтарь древесной смолы — первозданные краски, ожившие на многих и многих холстах... Потом я стремглав пустилась домой, попросила у мамы бумагу и карандаши, чтобы передать бумаге то, что не просто слышала, но, казалось, видела и боялась забыть малейшую подробность. Попросить у сестрицы Србуи рисовальные принадлежности я не могла: она уже и так исполнила одну мою просьбу — легла и дала себя покачать. Это был один из незабываемых дней, к которому я мысленно часто возвращалась.

Сестрица Србуи качалась... Её глаза были закрыты, и она больше походила на усопшую, чем на спящую. Она была не здесь, где-то очень далеко от нас, отстранённая, обособленная... Она уходила...

А в последний раз я её увидела... во сне, после первой пережитой мною большой несправедливости.

С особой теплотой вспоминаю своих одноклассников, которым я доверяла и которые, в свою очередь, доверяли мне. Время от времени быть полезной друзьям я всегда считала своим священным долгом и исполняла его с удовольствием. В дни окончания школы, во время выпускного экзамена по физике я привела в ответе новые данные, имевшие непосредственное отношение к моей теме, которые вычитала в популярном журнале “Наука и техника”. А наши рутинеры-педагоги, не утруждавшие себя самосовершенствованием, оказались абсолютно несведущими в вопросах, касающихся печных трансформаторов. Они вообще не жаловали любознательных учеников, потому что работать с ними гораздо труднее. Ведь такие ученики без конца требуют и требуют — и всё им мало! И, как это обычно бывает, а в подобных ситуациях особенно, люди просто-напросто отвергают то, чего не знают, а заодно и тех, кто к этому незнанию причастен. Это наикратчайший, самый эффективный, многократно испытанный и весьма надёжный способ скрыть свою некомпетентность.

Экзаменационная комиссия приняла мою “дерзость” в штыки. Мне не простили мое неблагоразумие: я позволила себе выйти за тесные для меня рамки учебника, вместо того чтобы, как попугай, слово в слово повторить его содержание. Я удостоилась не поощрения педагогов, что было бы логично, а совершенно необоснованного отпора с их стороны.

К сожалению, это и теперь так: учителя и преподаватели не любят превосходящих их по знаниям учеников или студентов. Как ни парадоксально, но случается, что у таких преподавателей и учителей вырастают толковые ученики. Что, разумеется, огорчительно для первых. Хотя так, конечно же, быть не должно. И уж особенно не благоволят к тем, кто, пусть даже без слов, молчаливо подмечает не случайные их оговорки, а явные ошибки, выдающие незнание предмета. К тем, кому они, как преподаватели, могут дать так мало... Храни Господь такого студента!

Именно тогда я поняла, как часто человек, прокладывая себе дорогу в жизни, тратит время на бессмысленные объяснения, которые совершенно излишни: напрасный труд!

А мои одноклассники взроптали. В знак протеста они разгромили школьный садовый участок — ухоженные грядки, заботливо прополотые и засеянные. И в классных комнатах поколобродили, даже кое-где попортили мебель, что, конечно же, достойно осуждения. Ведь всё это было создано усердным человеческим трудом, который не подлежит уничтожению. А они, к тому же,

уничтожали то, что создано их собственными руками. В пылу гнева, отчаяния и бессилия. Просто для моих друзей это был единственно возможный шаг в противовес проявленной по отношению ко мне откровенной несправедливости. Протестовали как умели. Вдвойне ценнее, когда долг преданности возвращают с полной искренностью.

В ту ночь я увидела во сне сестричек Сару и Србуи. Они явились, чтобы указывать мне путь к более гармоничному, а следовательно, более легкому способу существования, дать полезные наставления, в которых я действительно нуждалась. Они пришли, чтобы напомнить мне слова святого Павла: “Когда я немощен, тогда силён”.

Сёстры были одеты в белое с головы до пят. И красивы, потому что улыбались. У обеих руки были в муке. Они замешивали тесто. Сёстры протянули его мне и сказали: “Меси, доченька!”

И я стала месить ...

Уже удаляясь от меня, они так же ласково повторили: “Молодец, доченька, продолжай месить”...

Гаянэ Ахвердян
ДНЕВНАЯ СВЕЧА

Одиночество!
Здравствуй, сестра,
здравствуй, ангел тихий и светлый.
Здравствуй, день без утра,
безначальный, без ветра.

Одиночество!
Тихий лик!
Проницающий ночью
непроглядный сумрачный черновик
взор заочный!

Мне листать тебя —
не перелистать,
находить тебе слово.
Говорить с тобой,
жить с тобой на устах,
под твоим покровом...

ВОЗГОРАНИЕ

Синий зрачок огня,
что тебе до меня?
Что ты глядишь-горишь,
слова не говоришь?

Первого неба вдох,
первоцвет голубой...
Край, где таится Бог —
не изнемог, живой...

Странно глядеть в огонь,
в синь-холодок огня.
Сквозь золотую ладонь —
взор, вперенный в меня.

Ты ли творишь, огонь,
воздух живой крови?
Ты ли твердишь: — Не тронь!
Не убий, а живи!

Ты ли велишь: — Люби!
Говори, сочиняй
эту правду в крови
про тебя и меня!

На лету, на бегу, в пустоту, в долготу
этих дней безответных, на ветер...
Я останусь по смерти в дочернем долгу —
ни на том не отдать, ни на этом...

Только жгучее лед, раскаленное жар,
но всего нестерпимее жалость
к потемневшим от боли янтарным глазам
и к руке, что мгновенно разжалась.

Что тебе эта дневная свеча?
пламя уходит в рассветных лучах.
Солнце слезится на стеклах окна,
в свете ослепшем свеча не видна.

Думай не думай, гадай не гадай,
Пламенем в легкую память ступай.
Сколько бы солнца ни приняла речь,
жечь она будет одною из свеч.

Нет, не потерянность — затерянность
всегда случалась у меня,
вселяла ясную уверенность —
пропасть с огнем среди бела дня.

И так страниц меля метелицей,
как будто все что не для глаз,
само собою перебелится
строкой, протаявшей в свой час.

Скажи теперь, моя отчаянность,
моя счастливая беда,
куда вела стихов нечаянность
и тайны талая вода?

Елена Широкова-Тамбовцева
СЛАДОСТЬ СЛОВА И ГОРЕЧЬ

Елена Широкова-Тамбовцева родилась в Москве, окончила факультет журналистики Московского государственного университета им. М.В.Ломоносова и аспирантуру того же факультета по кафедре стилистики современного русского языка. Преподавала современный русский язык, стилистику русского языка и литературное редактирование в МГУ и в Братиславском университете им. Яна Амуса Коменского (Словакия). Автор литературоведческих, публицистических статей, опубликованных в России, Украине, Словакии, Чехии, Финляндии, Эстонии. Издала ряд книг – переводов стихов современных словацких поэтов, а также десять сборников своих стихотворений. Публиковала стихи об Армении и переводы стихов современных армянских поэтов в России и в Армении. Является членом правления Международной ассоциации содействия культуре.

НАДПИСЬ НА КАМНЕ

Осколок хеттской надписи на камне
 гласит: “Мы это тесто замесили,
 но надо для него воды немало,
 чтоб хлеб земной помог небесной силе...”

К кому взывали древние народы?
 Послание меня заворожило.
 Какое тесто, и какие воды,
 и что это за сказочная сила?

Быть может, древний каменщик из хлеба
хотел кирпич волшебный изготовить
и чудо-башню выстроить до неба,
чтобы польстить богам, их успокоить?

Но не хватило рек, озёр и моря,
чтоб замесить языческое тесто.
И с той поры здесь поселилось горе:
не жаловали боги это место.

Земля вокруг уже не знала мира,
но были горы для врагов преградой,
лаваш рождался в пламени тонира,
и созревали гроздья винограда.

За сотни лет до Рождества Христова
на камне отразил ваятель драму.
Но стал тот камень мудрости основой —
он лёг в фундамент каменного храма.

КАРАСТАН

Карастан — камней страна.
Моря нет в Армении,
лишь — небес голубизна,
гор да скал — немерено.

Мать-природа здесь строга,
жизнь сурово скроена.
Встали на пути врага
каменные воины.

Смотрят с горной высоты
каменные странники:
храмы, крепости, кресты —
вечности посланники.

Камень-крест — седой хачкар —
прячет птицей каменной
букву (по-армянски — тар)
в надписи израненной.

И хранях благую весть
каменные вестники —
букв армянских тридцать шесть —
все Маштоца крестники.

СЛЕД НА КАМНЕ

След на камне от строчек
и глубок, и прекрасен...
Но не каждому ясен
зашифрованный стих.

Нужен здесь переводчик,
чтоб изведать воочию
сладость слова и горечь,
мудрость мыслей простых...

ЕСЛИ...

Если песчинки выстроить в ряд,
камни столетий заговорят.

Если дождинки в небо вернуть,
можно Ковчега вычислить путь.

Если снежинки спрятать в руках,
в мире исчезнет холода страх...

ОБСИДИАН

Древний выплеснул вулкан
в небеса обсидиан.
Камень горный,
камень чёрный
в скалах спрятал Карастан.

Что сгорело, не спасти.
Пеплу белым не цвести.

Камень горный,
камень чёрный
я б хотела обрести.

По дороге на Севан
склон хранит обсидиан.
Камень горный,
камень чёрный
исцелит меня от ран.

Ясным днём в “ночной лоскут”
заверну печаль-тоску.
Камень горный,
камень чёрный
приложу скорей к виску.

Разомкнётся боли круг —
и вернётся старый друг.
Камень горный,
камень чёрный
мне подарит счастье вдруг:
свет вершин, стремнины рек,
век ушедший, новый век.
Камень горный,
камень чёрный —
талисман и оберег.

ВИДЕНИЕ

Когда моей тени
коснётся закат
и призрачным эхом
растает мой крик,
армянским виденьем
всплывёт Арарат,
под грецким орехом
пробьётся родник.

Набрав полкувшина
целебной воды,

взойду ва вершину
виденья-горы,
Пусть этой картины
исчезнут следы,
забуду, отрину
иные миры.

По горной дороге
из рыжих камней,
где цокали звонко
века о гранит,
смугла, босонога,
вернётся ко мне
надежда-девчонка
и явь озарит.

И новые воды
наполнят Севан,
укроют седины
его берегов;
и новые всходы
взрастит Айастан
на нивах старинных
мелодий и слов...

Юрий Арустамов. Сестра моя, Армения

Бывший бакинец. В 1990 году покинул Азербайджан и переехал в Израиль. По профессии филолог, но в Советском Союзе работал тренером по шашкам, т.е. был шашечным профессионалом, чемпионом СССР, республики, ВЦСПС и т.д. Международный гроссмейстер. В Израиле живет на пособие по старости (не путать с пенсией!). Член СП Израиля. Автор книги стихов "Вкус польни".

АРМЕНИИ

Мир прорезали траншеи.

Высылает смерть жнецов.
Долг Отечеству страшнее
всех языческих жрецов.

Все мы люди, тем не менее,
журавля хотим поймать.
О, сестра моя Армения,
ты сестра мне, а не мать.

Если проволокой ржавую
полпланеты перекрещено,
мать не может быть державою.
Мама — это просто женщина.

Жизнь — лишь птичка-невеличка,
лишь случайный дар богов.
Как ты там одна, сестричка?
Выживай среди врагов!

ОЧЕВИДЕЦ

Очевидцем известных событий
оказался я волей судьбы.
Эти дни — невозможно забыть их:
вдруг повысился спрос на гробы,
мегафон надрывался, неистов,
и с деревьев сгонял стайки птиц.
Возбужденные лица садистов,
ошалелые взгляды убийц.

И какой-то туземный Мобуту
угрожал: “Сочтены ваши дни”.
Но Господь меня спас почему-то
в мясорубке бакинской резни.

Я отвык просыпаться от страха,
цепенеть от ужасного сна.
На тяжелых фронтах Карабаха
за меня отплатили сполна.

Да, я выстрадал истину эту:
 “Весь народ не бывает нечист.
 У погромщика нации нету,
 он по нации — просто нацист”.

...Но в ночи, подступив к изголовью,
 снова старые кадры рябят.
 Всё равно, я в долгу перед кровью
 карабахских упрямых ребят.

ПРОЩАНИЕ С РОДНЫМ ГОРОДОМ

Город первой любви и последних прощаний с друзьями,
 тот, где чайки взмывали и падали вглубь якоря,
 сам ушел Атлантидой в закатное дымное пламя.
 Редко вспомнят о нем, полушепотом злым говоря.
 Лишь обрывки каких-то вестей, непонятное что-то:
 там и жутко и скучно; короче — там *не хорошо*.
 Знаменитый бульвар превратился в гнилое болото,
 и довольные жабы блаженствуют под камышом.

Там на стрелках часов — время черт-те которого века,
 там по улицам бродят, надсадно и часто дыша,
 люди-псы, поразившие некогда древнего грека,
 и по новым охотам томится их злая душа.

Мы черту подвели, не унижится сердце обидой.
 К черту все разговоры про корни, про близких, про дом!
 Всё же что-то осталось. Вот я и сравнил с Атлантидой
 мрачный город, похожий на недогоревший Содом.

Жизнь подходит к концу, а другую уже не найдете.
 Жили долго, и вечно добро отступало пред злом.
 Я б вернулся *туда*.
 Только на боевом самолете
 с термоядерной бомбой под каждым угрюмым крылом.

ДВА НАРОДА

В.Городецкому и В.Кочарову

Сколько общего в наших народах!
Никогда не забудет душа
об облавах, погромах, исходах,
об умении жить, не дыша,

тише шороха, ниже травинки,
что притоптана злым сапогом.
И, как скот, на невольничьем рынке
продавали нас врозь и гуртом.

И великое даже содеяв,
мы тряслись, к небу руки воздев, —
не проснется ль в свирепых соседях
круто смешанный с завистью гнев?

Не успеешь обжиться, как снова
гетто, лагерь, тюрьма да сума.
Но мы слышим Господнее слово,
но сияет нам светоч ума!

...Братских рвов невысокие насыпи.
Надо б надпись тут: “Горе уму!”
Человечества вечные пасынки,
слишком щедро мы платим ему.

Мир приемлют во всей многомерности
наших книг золотые тома.
А за это — наветы и мерзости,
геноцида слепая чума.

Анекдотами, притчами меткими
мы сроднились навек меж собой,
и деревья с библейскими ветками
распростерлись над нашей судьбой.

И опять мы, извечные странники,
продолжаем свой путь по Земле.

Два народа... Изгой? Избранники?
Горстка соли на скудном столе.

1990 г.

ИСРАЭЛЬ И АЙАСТАН

*Вениамину Городецкому,
учителю и другу*

Ни молекулой, ни клеткой
не войти в сей ареал.
И под ханаанской веткой
прадед мой не горевал.

О, закон священной Торы!
Я тебе не подхожу.
Но найдется ль плуг, который
четко проведет межу?

Разделите пламя свечек
и сияние менор,
юмор, что наивно вечен,
и седых молитв минор.

Здесь попы, а там раввины.
Выбирает каждый сам.
Но взывает кровь невинно
убиенных к небесам.

Жуток этот мартиролог.
Жалко наших сыновей.
Разберется ль гематолог
в сложной формуле кровей,
что не мчатся в юных жилах,
а рекой текут из ран?
Но спасли вы душу живу,
Израэль и Айастан!

Не кончается дорога,
и неважно, кто мудрей,

и равны все перед Богом:
Русский.
Армянин.
Еврей...

Израиль, Беер-Шева

ОЧЕРК, ПУБЛИЦИСТИКА

Ирма Сафразбекян

“ПОКИНУВ ОТЧИЕ КРАЯ, УШЛИ НАВЕК...”

Летопись семьи Туманян словно являет нам в миниатюре картину жизни армянского народа, ибо в судьбе ее отразились все исторические и культурные события того времени.

Семья Ованеса Туманяна была необычайно сплоченной и дружной. И это шло прежде всего от самого Туманяна. Поэт не представлял свою жизнь вдали от детей и приучал их заботиться и любить друг друга. В доме старшие помогали матери растить малышей, баловали их, а те с благодарностью принимали их заботу и любовь, отвечая им взаимностью. Так через жизнь каждого проходила та невидимая ниточка, которая связывала всех.

В начале века, казалось, ничто не предвещало трагических событий в жизни семейства. Это действительно была счастливая и веселая семья. Дети учились, старшие опекали младших, ставили для них спектакли, разучивали стихи и песни. Сыновья поэта с особой любовью относились к своим сестрам: Мушег и Ашхен росли вместе, были очень близки, Амлик был больше привязан к Седе и Ануш, Арег — к Нвард, а Артик — к Арпик и Тамаре.

Росли они в окружении замечательных людей: писателей (П.Прошян, Г.Агаян, Д.Демирчян, Л.Шант и др.), художников (Г.Башинджагян, Л.Гудиашвили), музыкантов (Комитас, А.Спендиарян, Р.Меликян), что сыграло решающую роль в формировании их эстетических вкусов и мировоззрения. В доме была огромная библиотека, собранная их отцом. “Эта библиотека — университет для вас”, — любил он говорить. Ею пользовались дети

Туманяна, а в дальнейшем и мы, его внуки. На яркий огонек туманяновского очага слеталось множество народа — ни дня не проходило без гостей. Туманян приучал детей к общению с взрослыми, даже самые младшие сервировали стол, слушали и принимали участие в обсуждениях, пели вместе с гостями, присутствовали при приеме самых высокопоставленных лиц.

Но жизнь обошлась сурово и безжалостно с семьей поэта, особенно с его сыновьями.

Все сыновья Туманяна принимали участие не только в общественной и культурной жизни Армении, но и в военных действиях 1914-18 гг. Не случайно, представляя Андранику своих четверых сыновей, поэт сказал: “Все они в твоём распоряжении”.

По-разному сложилась судьба мальчиков.

Короткой, но полной самых высоких стремлений была жизнь Артавазда. Артик, так называли его дома, родился 28 ноября 1894 г. Учился в частном пансионе Ст.Лисицына, а затем в семинарии Нерсисян.

По воспоминаниям моей мамы и ее сестры, он был молчаливым, собранным и спокойным ребенком. С ним никогда не было проблем. Он всегда мог занять себя, много рисовал: сохранились его пейзажи с видом на Арарат, наброски, портреты. От отца не ускользнули увлечения мальчика. Он понял, что в этом задумчивом подростке скрыта одаренная поэтическая натура. Артик писал стихи, рассказы, переводил сказки Мамина-Сибиряка, печатался в журнале “Хаскер” (“Ростки”). Зимой 1912 г. он писал отцу, что скоро выйдет отдельная книга его статей (в основном о художниках), а главное, в нее войдут пьесы “Рубенс”, “Ван-Дейк”. Постановка драмы “Рубенс” прошла на сцене благотворительного общества в феврале 1912 г. и имела успех. А летом в Дсехе, когда Туманян приехал из Петербурга, Артик поставил по собственному сценарию домашний спектакль “Гикор” и сам играл в нем купца Артема для отца и сестер. (В газете “Гракан терт”, N21 за 1980 г., была опубликована статья А.Туманяна о Мартиросе Сарьяне.) Интересно отметить, что Ширванзаде видел в Артике будущего драматурга, а Сарьян находил в нем задатки незаурядного художника.

Заметив увлечение Артика рисованием, Туманян решил, что его нужно отправить учиться живописи. Артик с Мушегом поехал в Москву и поступил в художественную студию П.Л.Келина. Чтобы поддержать брата, вскоре туда приехала и Нвард.

Из Москвы от Артика приходили восторженные письма. Он сразу окунулся в культурную жизнь столицы, посещал театры, обошел залы Третьяковской галереи, был на вечере памяти Саят-Новы. Его окружали друзья — В.Терьян, П.Макинцян, М.Сарьян. Он был увлечен сарьяновской идеей создания “Общества по охране памятников старины”.

Артавазд много читал об искусстве. “Ты должен стать образованным человеком, — говорил отец Артику, — если у тебя есть призвание, ты должен довести его до высшей степени”. И самое главное, чему стремился научить своих детей Туманян, — быть человеком. “Ты должен быть совершенным человеком, — писал он, — это самое главное призвание”.

Однако Артику не суждено было завершить образование. В начале 1915 г. он был призван на военную службу и направлен в Джульф. В феврале 1916 г. он писал матери, что едет в Хой, а затем в Ван. Артик был чутким, внимательным сыном: писал родителям бодрые, успокаивающие письма, зная, что семья нуждается, посылал домой деньги: одна купюра в 500 рублей хранится в архиве Дома-музея Туманяна, на ней рукой Ашхен сделана надпись: “Их было две, одной мама заплатила долг”.

В Ване Артик встретился с поэтом С.Городецким, который приехал в Западную Армению как корреспондент газеты “Русское слово”. Он ехал спасать армянских детей. С Городецким Артик познакомился еще дома, в Тбилиси. Туманян представил Артика: “Вот мой сын Артавазд, он тоже едет в Ван. Будете вместе работать”. На вопрос Городецкого, не поэт ли Артик, он ответил: “Драматург”.

В Ване Артик учил Городецкого армянскому языку, читал стихи наших поэтов, Туманяна. В записной книжке Сергея Митрофановича сохранились армянские слова с их переводом и транскрипцией. Вдохновленный красотой природы, выразительными лицами армянских стариков и детей, мужеством армянских солдат, он создал здесь цикл стихотворений под названием “Ангелы Армении”, посвященный Ов.Туманяну.

Письма Артика к отцу становились все тревожнее. Он писал об обострении отношений между армянами и курдами, о толпах голодных крестьян, о нищих детях и просил отца помочь. Сам Артик спешил в Бегри-Кале, чтобы наладить там раздачу продовольствия.

Туманян словно предчувствовал, что с сыном может что-то случиться: “Я беспокоюсь за Артика, он в небезопасном месте”.

Артик перевозил детей-сирот в надежные убежища. В 1917 г. в Александрополе было спокойно, и Артик приехал туда с группой беспризорников. Жена Мушега Мария вспоминала: “Эти дети-сироты боготворили своего спасителя и опасались, что он оставит их, когда он ушел навестить нас. Мы угостили обедом и проводили его на вокзал — он торопился к детям, оставшимся в вагоне”.

22 февраля 1918 г. Артик писал домой: “Мы находимся в окружении, и это кольцо все больше сжимается, в один прекрасный день мы окажемся в плену”... Тогда они чудом спаслись. А 3 декабря того же года Туманян прочитал в газете “Горизон” сообщение о том, что по дороге из Беджара в Амадан Артавазд Туманян и трое его спутников были убиты. Туманян отказывался верить в гибель сына и надеялся на его возвращение. Он написал письмо Овсепу Мирзояну в Тегеран с просьбой узнать что-либо о сыне и его товарищах: “...Если же несчастье действительно произошло, отправьте их прах в Амадан”. Но все обращения Туманяна остались без ответа. С.Городецкий пытался отыскать след Артика в Ване, “но ничего не нашел в мертвом городе...” — писал он поэту.

Семья очень страдала, но тяжелее всех перенес гибель Артавазда он. Он так и не оправился от этого удара, замкнулся, стал сторониться людей. По вечерам он ставил на стол прибор с бокалом и подолгу сидел в молчании, словно ждал сына. В 1921 г. в Константинополе он пытался отыскать свидетелей смерти Артика.

В марте 1923 г. в больнице между Ашхен и Туманяном состоялся интересный диалог. Зная, как Ашхен переживает разлуку с сыном Овиком, который остался в Ереване, Туманян спросил ее: “Как ты думаешь, что тяжелее в жизни, утрата отца или сына?” Ашхен растерялась. Потом ответила: “Есть разные отцы и разные сыновья...” Отец задумался и ответил: “Ошибаешься... Для меня потеря отца была большим горем, но потеря Артика ни с чем не сравнима...” Перед операцией поэт наказал похоронить его на склоне горы Дид в Лори. “И найдите Артика, если он жив, пусть придет ко мне... Если найдете, привезите ко мне, пусть будет рядом со мной, мы будем вместе”, — просил он детей.

Так окончилась 24-летняя жизнь Артавазда Туманяна. Он так и не успел обручиться с девушкой, которую любил.

Первенец Туманянов Мушег родился 15 августа 1889 г., когда Ольге было семнадцать, а Туманяну девятнадцать лет, нарекли его по имени героя романа Раффи “Самвел”. С первых же дней

жизни бабушка Шушаник, мать Ольги, взяла на себя заботу о ребенке. В Шулавергах у нее был двухэтажный просторный дом и огромный плодовый сад. Каждую осень она отсылала растущей молодой семье разнообразные фрукты. Мушег воспитывался в этом доме, здесь же росли в дальнейшем его дети Анаит, Надежда и Виген, да и вся туманяновская семья была частым гостем в этом благоустроенном и приветливом доме.

Бабушке хотелось, чтобы внук получил самое лучшее образование. Она-то и определила Мушега, а позднее и Ашхен в гимназию Лисицына, самое престижное заведение того времени. Туманян был недоволен тем, что дети получают русское образование, поэтому остальные учились в школах (Овнанян, Гаянян), а Амлик и Артик — в семинарии.

В одно декабрьское утро 1908 г. в дом Туманянов пришли с обыском. Вместе с отцом арестовали и Мушега, тогда ученика восьмого класса. На следующий день приехала мать Туманяна Сона — ей приснился плохой сон, и она поняла, что с сыном что-то случилось. Мушега вскоре выпустили, но из-за ареста он потерял год учебы.

Известно, что в тюрьме Ов.Туманян в день своего сорокалетия написал стихотворение “Գլխըրք” (приземление, посадка), в котором подводил итог пройденному пути: поэт не жалел ни о чем, он познал истинный смысл жизни и смерти, поднявшись выше земных страстей, оставив внизу все, что гнетет душу. Восемнадцатилетний Мушег смотрел на жизнь иначе. Он только начал постигать глубину жизненных невзгод, был в смятении, искал свою правду, свой путь. Там же, в тюрьме, он пишет стихотворение с красноречивым названием “Գլրելը” — подъем, взлет.

Окончив школу, Мушег уехал в Петербург — таково было решение Туманяна. В сентябре 1911 г. он поступил на биологическое отделение физико-математического факультета Санкт-Петербургского университета.

В ноябре 1911 г. Ов.Туманяна арестовали вторично, а в декабре стало известно, что арестованных отправляют в Петербург. Нвард Туманян вспоминала, как они, дети, вместе с матерью провозжали отца ночью, по темным улицам. Остальные осужденные — все, кроме Туманяна, — были закованы в цепи. Вслед за ним в Петербург выехала старшая дочь Ашхен с мужем, Г.Хатисяном, который был назначен официальным адвокатом на судебном процессе. Дочь и сын постоянно присутствовали на заседаниях суда. Туманян вспоминал, что Мушег и Ашхен устраивались

на галерке, так, чтобы он их видел. Старшие дети писали домой подробные письма-отчеты о ходе процесса и 20 марта 1920 г. вместе с отцом праздновали его освобождение.

Зимой 1915 г. Мушега призвали на военную службу. 30 января он выехал в Игдир, откуда писал своему отцу, что он не сбежит, как другие студенты, и перенесет все трудности армейской жизни. После Игдира был Дадиван, где его определили во Вторую армянскую дружину.

Именно от Мушега и Артика получал Туманян самые объективные сведения о событиях в Западной Армении. А письма были очень неутешительные. Мушег с болью писал о разграбленных селах, о голодных детях, брошенных на произвол судьбы. “А самое ужасное — это расхищение детей: их увозят в другие страны и города”, — сообщал он. Мушег и его товарищи оказывали помощь бесконечным вереницам беженцев. Они рассказывали, как по тридцать-сорок человек, закованных в цепи, расстреливали у них на глазах.

В Петербург Мушег вернулся лишь в январе 1916 г. и, окончив университет, поступил в снайперское училище, а затем был направлен в Александрополь.

В северной столице в том же 1916-м он познакомился со своей будущей женой, польской красавицей Марией Сокальской, приехавшей учиться на Бестужевских курсах, а позже окончившей еще и годичные курсы подготовки учителей средней школы. Мушег познакомил Марию Архильевну со своей старшей сестрой Ашхен, они очень сблизились и до конца жизни оставались подругами. О своем решении жениться Мушег написал отцу, а Маруся — матери в Польшу. Туманян, увидев ее фотографию, писал сыну, что девушка действительно очень красива, но, по его мнению, “она никогда не поймет наших армянских обычаев, не знает армянского языка, и все ей будет чужим”. Мать Маруси тоже прислала огорченное письмо, упрекая дочь в том, что та “уезжает на погибельный Кавказ, в неизвестность”. Но это не остановило Мушега и Марусю — любовь оказалась сильнее. Как писала Мария Архильевна, чувства “не померкли”, они решили пожениться и самостоятельно обустраивать свою жизнь. После женитьбы она поехала к матери, “чтобы искупить свою вину”. Мать, поняв чувства Маруси, простила дочь и в знак примирения подарила зятю микроскоп, зная, как он нужен химику и биологу.

Летом 1917 г. Мушег с ведома матери поехал за своей будущей женой (Туманян был в Пятигорске). Прежде всего Мушег

привез ее в Тбилиси, познакомил с матерью и сестрами, а потом в Шулаверы, к бабушке, которая в нем души не чаяла. Мария Архильевна потом писала, что боялась этой встречи, но получилось все очень просто. Они сидели на веранде, было прохладно, бабушка подошла и накинула ей на плечи теплый платок. Этот жест согрел ее — признание состоялось. Мария Архильевна сразу же вписалась в туманяновскую семью: она была образованна, владела французским, отлично пела и была непривередлива в быту.

В 1917 г. молодые поехали в Александрополь, где их обвенчали в церкви Сурб Пркич. Там же они встретились с Туманяном. “Его благородный облик соответствовал тому представлению, которое сложилось у меня под впечатлением рассказов Мушега об отце”, — писала Мария Архильевна Тамаре Туманян. В мае 1918 г. Туманян навестил молодых, купил им мебель, помог обустроиться. Мария работала в коммерческом училище — преподавала русский язык, а Мушег был на военной службе и учительствовал в гимназии.

В мае 1918 г., когда турки подошли к Александрополью, супруги вынуждены были уехать в Тифлис. Там 11 августа родилась первая внучка Туманяна Анаит, которую дед называл Вардишах или Шагик*. Однажды девочка была чем-то обижена и в слезах прибежала к дедушке, ища утешения. Туманян смахнул слезинки с ее щек со словами: “Что это за росинки?” — так она стала Шагик.

В 1919 г. молодую семью по службе направили в Карс. Здесь они оба работали в реальном училище. Но вскоре в Карс вступили турки, и Мушег с товарищами оставили крепость. В городе начался грабеж. Маруся с новорожденным сыном Вигеном спаслась чудом. Товарищ Мушега, выдавая себя за русского, сумел вывезти их вместе со своей семьей. Маруся с Вигеном попала в молоканское село Благодарск. Она работала в школе и получала за это продукты. Только весной 1920 г. они смогли добраться до Тифлиса. И конечно, всегда готовая оказать любую помощь бабушка Шушаник пригрела их и помогла семье прожить два спокойных и счастливых десятилетия. Шушаник растила троих детей Мушега — Анаит, Надежду и Вигена, который был ее надеждой и гордостью.

Мушег очень любил работать в саду, посадил необычные фруктовые деревья, выращивал десертные сорта винограда. Казалось, ничто не омрачало жизнь Мушега и его семьи. Однако,

* Шагик — росинка (арм.).

словно предчувствуя несчастье, летом 1937 г. Мушег решил со всей семьей съездить в Москву, Ленинград, а затем в Армению. Проездом они остановились у нас, в Ессентуках. В Москве, к удивлению Мушега, никто не встретил их на вокзале. Позвонив сестре Арпик, он узнал, что Арег арестован.

Вернувшись в Шулаверы, Мушег продолжал работать, а в ноябре арестовали и его самого. Дочь Надюша рассказывала: “Мама хорошо пела и всегда встречала папу напевая. Но, открыв дверь, она увидела товарища отца”. Взяв Мушега, чекисты разграбили весь дом и сад, который завещала правнукам Шушаник Мачкалян. Жену Мушега не арестовали только потому, что она жила в Тбилиси. За нее заступился директор школы — это спасло ее и детей. Они всегда с благодарностью вспоминали старого директора, который мог одним недобрым словом погубить всю семью. Потом потянулись страшные дни ожидания.

Мушегу определили меру: арест с правом переписки. Последнее письмо от него семья получила из Тайшета (Западная Сибирь) 16 февраля 1938 г. На конверте стояло: “Управление НКВД, строительство БАМ. Заключенному — мне”. Только несколько лет спустя они узнали от вернувшегося из ссылки врача о последних днях Мушега Туманяна. Его не стало в 1938 г. Так ушел из жизни старший сын поэта.

Полной противоположностью старшим братьям был Амлик — беспокойный драчун и задира, вечно с расквашенным носом и подбитыми коленками. Сестры вспоминали, что он был очень общительным, веселым, с большим чувством юмора.

Родился он в Тифлисе 23 августа 1896 г., учился в семинарии Нерсисян. Амлик всегда имел склонность к гуманитарным наукам. Читал книги об искусстве и литературе. В 1912 г., когда Туманян был в Санкт-Петербурге, они вместе с Артиком написали очерк “Что такое искусство”, и Лео, в то время редактор “Горизона”, поместил очерк в своей газете. Туманян, прочитав статью, был удивлен и расстроен. Он упрекнул Лео: над этой проблемой бьется весь мир, и до сих пор никому не удалось ее прояснить. Сыновьям же отец написал, что нужно очень много читать и развивать свой вкус, прежде чем браться писать на такие сложные темы.

В 1914 г., будучи учеником шестого класса семинарии, Амлик организовал в школах Гаянян и Овнанян инсценировку рассказа “Гикор”, сценарий написал сам. В том же году Амлик попросил родителей перевести его в Эчмиадзинскую духовную семинарию,

и в сентябре сдал экзамены и поступил в пятый класс семинарии Геворкян.

В августе 1916 г. Амлика призвали на службу в армию: он охранял на Тифлисском вокзале вагоны с продовольствием. Отец был недоволен, очень беспокоился о сыне и вздохнул с облегчением, когда в апреле 1919-го Амлика перевели в Ереван и назначили заведующим протокольным отделом Парламента. В Ереване Амлик писал интересные статьи о языке, культуре и искусстве, печатался в журнале “Жоговурд” (“Народ”).

Туманян был озабочен тем, что сын не получил основательно-го образования. Он писал дочери Ашхен, что у Амлика красивый, образный язык, он серьезно занят литературой. “Я бы хотел, чтобы он продолжил учебу”. Мечта отца сбылась в сентябре 1921 г. Амлик выехал в Венецию, а затем в Париж, где поступил на философский факультет университета. Здесь же он вступил во французскую компартию. Он много ездил по Европе, посещал выставки и музеи, слушал известных музыкантов. В декабре Амлик писал отцу, что был на родине Сафо — на острове Лесбос.

Из Парижа он писал очень часто, особенно сестрам. Сообщал, что первоначальной темой его научной работы было творчество Саят-Новы, потом он решил писать о Туманяне, но тогда все материалы пришлось бы переводить на французский, и потому он остановился на Тагоре. “Это большая и сложная тема”, — писал он Седе и просил прислать ему книги Р.Тагора “Садхана” и “Поэмы Кабира”. Тагор не впервые привлекал его, еще в 1916 г. Амлик перевел его рассказ “Ножик”, а в 1922 г. в Вене вышел перевод “Садовника”, позднее переизданный в Ереване в 1955 и 1961 гг. В 1922-м Арег привез Туманяну в больницу публикацию “Садовника”. Отец был очень взволнован, даже прослезился, просил, чтобы Ашхен и Нвард читали ему отрывки. Туманян сам высоко ценил Тагора и был рад, что сын перевел его.

Позднее Амлик перевел стихи А.Пушкина, “Леон Кутюрье” Б.Лавренева, “Гитанджали” Р.Тагора. Он был намерен основать в Париже издательство, для чего просил прислать сказки Туманяна, но эта идея так и не воплотилась в жизнь.

Амлик, как и все дети Туманяна, был привязан к своей семье. Узнав, что отец в ноябре-декабре 1921 г. будет в Константинополе, он приехал к нему и целый месяц провел с ним. В марте 1923 г. он ждал в Берлине Туманяна с Арегом, очень надеясь, что немецкие врачи смогут помочь больному отцу. Но Туманян так и не приехал — было уже слишком поздно.

Амлик тяжело перенес смерть отца. Он рвался домой, чтобы поддержать в горе мать и сестер. Но Ольга, зная, как важно для Амлика продолжить учебу, не позволила ему приехать. С болью в сердце он писал матери, подбадривая ее: “Такова жизнь, нужно смириться и с новой силой и энергией продолжать жить”. Теплые, нежные письма писал Амлик сестрам — Седе, Ануш, Нвард: “Помните, что отец всегда с нами, он не покидал нас, он в каждом из нас”.

После смерти поэта Амлик обратился к Аветику Исаакяну с просьбой написать воспоминания об отце. “Проникнутые слезами и радостью, горем и цветами” воспоминания Исаакяна о своем друге — одни из самых светлых и ярких.

Связь Амлика с домом никогда не прерывалась. Зная, как увлекается музыкой Ануш, он посылал ей открытки с фотографиями композиторов, Тамаре, которая отлично рисовала — снимки красивых зданий, Седе — пейзажи, зная ее любовь к природе. Как бы ни был Амлик увлечен Парижем, природой Франции, ее искусством и культурой, в душе он оставался лорийцем. Сестре Седе он прислал открытку с видом живописного озера, на которой сделал приписку, что ни одно озеро в Швейцарии не сравнится с озерами Дсеха.

В апреле 1925 г. Амлик писал Седе о том, как нужны родине образованные люди, каждый из которых должен внести свою лепту в развитие культуры армянского народа. Откуда ему было знать, что за стремление помочь своему народу, за знания, полученные в Сорбонне, ему суждено заплатить жизнью!

После возвращения в Тифлис в 1926 г. Амлик работал руководителем Закавказского отдела печати и одновременно был директором рабфака. Первый раз его арестовали в марте 1935 г. На бесконечные телеграммы Ольги и Ашхен Туманян ответы не приходили. В заключении Амлик написал стихотворение “Матери”, в котором описывал горести, выпавшие на ее долю, но даже в тюрьме он не унывал: все стихотворение проникнуто юмором и мягкой иронией.

Через полгода Амлика освободили. После первого же ареста Амлик оформил развод с Тамарой Андреасян, спасая тем самым свою жену и малолетнюю дочь Нектар от преследований. Несколько месяцев он проработал научным сотрудником Академии Наук, в свободное время занимаясь систематизацией рукописей отца.

Во второй раз за ним пришли в конце мая 1937 г. Больше сведений о нем не получали. После реабилитации в 1955 г. доче-

ри Амлика Нектар сказали, что ее отец был арестован по приказу Бери.

Самого младшего из сыновей Туманяна нарекли Арегом по просьбе Газароса Агаяна: “Если будет девочка, назовите Арегнан, если мальчик — Арег”. Родился он 27 ноября 1900 г., был живым, шаловливым ребенком. За кудрявые волосы и длинные ресницы отец прозвал его “курчавым поэтом”. В семь лет он поступил в гимназию Ст.Лисицяна, был прилежным учеником, его называли “гордостью гимназии”. С юношеских лет он проявлял интерес к истории и литературе, в двенадцать лет писал стихи и сказки, о чем сообщал своей сестре Ашхен: “Для меня не готовьте место в университете, так как я буду поэтом”. На это Туманян ответил: “Целую нового поэта. Предоставьте ему мой кабинет. Седик и Тамара будут подавать ему кофе турецкий... А он все время будет вдохновляться и писать, и ничего не будет получаться...” Поэтом Арег не стал, но отличное знание русского и немецкого языков помогло ему приобщиться к русской и европейской культуре, позволило в дальнейшем всерьез заняться исследованием творчества отца.

Его мировоззрение формировалось под влиянием взглядов Степана Шаумяна. Он изучал революционное движение в Закавказье, знал тяжелое экономическое положение армянской деревни, часто ездил по селам, помогал крестьянам собирать урожай, обучал их грамоте.

Еще гимназистом, в 1917 г. Арег по рекомендации С.Орджоникидзе и М.Цхакая вступил в Тифлисскую организацию партии большевиков (партбилет №0000250), на два года завысив для этого свой возраст. По партийной работе он выезжал в Батуми, Лори, Баязет, не раз бывал арестован за свою деятельность меньшевистским правительством Грузии. В 1920—1921 гг. работал в политуправлении Одиннадцатой Армии, участвовал в установлении Советской власти в Грузии и Армении.

С июня 1921 г. Арег в Ереване руководил организационным отделом и отделом агитации в ЦК КП(б) Армении. По поводу этого назначения Туманян писал сыну: “Должность портит человека, опьяняет, а иногда и губит, если он слаб и тщедушен. Я надеюсь, ты будешь всегда “выше своей должности”. Будь дальновидным и человеческим”.

В январе 1922 г. Арег вернулся в Тбилиси. Амлик был в Париже, Мушег с детьми — в Шулаверах. Дома был нужен мужчи-

на, который взял бы на себя заботы большой семьи, и двадцатидвухлетний Арег понимал это. В марте Туманяна оперировали, и Арег с сестрами помогал ему оправиться. Он ходил вместе с отцом гулять по Коджорской дороге, а вернувшись, они играли в шахматы.

23 декабря 1922 г. вместе с сестрами Ашхен и Нвард и доктором Сагияном Арег выехал в Москву с больным отцом. Туманяна поместили в клинику Спиржано, а затем перевели в Остроумовскую больницу. Надежды на выздоровление почти не осталось, решено было ехать в Берлин на лечение. Арег готовился к отъезду в Германию, но, к сожалению, поездка не состоялась — 23 марта Туманяна не стало. Во время вскрытия Арег не выдержал и, как он написал Амлику в Берлин, совершил дерзкий поступок: “Я украл сердце отца, чтобы оно было всегда с нами, у нас дома”. Долгие годы сердце поэта хранилось в туманяновском кабинете, в небольшом шкафчике. Позже его перевезли в Ереван, в Анатомикум. И только в 1994 г., в дни празднования 125-летия со дня рождения великого поэта, его сердце захоронили в небольшой часовенке перед его отчим домом в Дсехе.

После смерти отца Арег начал писать легенду о великом ашуге Имерлане, в образ которого вложил черты самого Туманяна. Легенда так и не была завершена...

В 1928 г. Арега направили в Москву, в Наркомторг. Одновременно он учился на историческом факультете в институте Красной профессуры. До 1937 г. он работал в аппарате ЦК ВКП(б) и преподавал.

Потом наступили самые тяжелые времена. Волна арестов прокатилась по всей стране. 4 июля 1937 г. во время отдыха на даче Арега арестовали. По воспоминаниям жены Амалии и дочери Сурмы, аресты проводились по заранее составленному списку, в алфавитном порядке: Туманян, Туполев, Тухачевский... 5 ноября того же года посадили жену Арега. Девочку отдали в детдом, где ее разыскала Ашхен и привезла к бабушке в Тбилиси.

Ответом на неоднократные запросы Ольги Туманян было молчание. В 1940 г. в отделе НКВД ей ответили, что Арег отправлен в лагерь без права переписки, но куда именно и на какое время — не сообщили. Только в сентябре 1942 г. из Военной прокуратуры пришло уведомление о том, что его дело не может быть пересмотрено.

Трудно себе представить, что пережила вдова поэта, потерявшая надежду на спасение одного за другим всех своих сыновей.

Ольга Туманян писала Нвард: “Я не знаю, как превозмочь боль, горе преследует нас”. В 1953 г. вдова Туманяна написала Г.Маленкову: “Мне уже восемьдесят два года. Я обращалась неоднократно с просьбой, умоляя сообщить мне хотя бы одно — живы ли мои сыновья, но ни разу не получила ответа. На склоне лет я хотела бы быть свидетельницей реабилитации моих сыновей, чтобы на чистое имя великого поэта и певца дружбы народов не падало незаслуженного пятна... Надеюсь, что мне перед смертью удастся увидеть хотя бы одного из них...”

Наконец 2 июня 1955 г., когда пришло известие о реабилитации всех троих, оборвалась последняя надежда. Сыновей давно не было в живых.

Дочь Арега Сурма ознакомилась с делом отца. 14 июня 1938 г. Военная Коллегия Верховного суда СССР приговорила его к расстрелу, и в тот же день приговор был приведен в исполнение. Сурма долго пыталась найти место, где захоронен отец. Наконец в 2000 г. обществом “Мемориал” и издательством “Звенья” была опубликована книга “Расстрельные списки. Москва, 1937-1941. “Коммунарка”. Бутово. Книга памяти жертв политических репрессий”. Здесь дочь Арега нашла фамилию своего отца. В братской могиле на спецобъекте “Коммунарка” покоится прах Арега Туманяна. В 1999 г. территория эта была передана Русской Православной церкви, на ней устроено подворье Свято-Екатерининского мужского монастыря, а позднее возведен храм Святых Новомучеников и Исповедников Российских.

Так закончилась история четырех братьев Туманян.

Овик был первым внуком Туманяна. Ашхен Туманян и Геворк Хатисян поженились в августе 1911 г. Хатисян был юристом. Туманяну очень нравился этот уравновешенный, веселый человек, который с такой энергией защищал его в Санкт-Петербургском суде.

14 августа 1914 г. у Ашхен родился сын, которого в честь деда назвали Ованесом. Туманян души не чаял во внуке, баловал его, покупал игрушки и конфеты, даже разрешал ему рисовать за своим письменным столом. Туманян писал письма маленькому Овику и просил, чтобы тот непременно ему отвечал. Овик с детства писал стихи, любил их декламировать и, конечно, знал наизусть много стихотворений своего деда. Мальчик не по возрасту много читал. Очень любил ловить рыбу вместе с взрослыми, и Туманян шутил по этому поводу, что внук сможет прокормить отца и мать.

Овик учился в Тбилиси в армянской школе №72. Жили они рядом с Туманянами, на Вознесенской, 16, в шестикомнатной роскошной квартире. Несмотря на то, что его баловали родители, дед, Тамара, Седа (они были лет на семь-восемь старше), он вырос добрым и непривередливым ребенком.

Со временем, по-видимому, разница в возрасте между его родителями стала причиной разногласий в их семье. Еще при жизни Туманяна начались разговоры о разводе. Незадолго до смерти Туманян писал Ашхен: “Моя самая большая забота — это ты”. Развод состоялся уже после кончины Туманяна. В 1928 г. Овик вместе с отцом уехал в Харьков, где поступил в электромеханический техникум. В 1932 г. случилось несчастье — Г.Хатисян попал под поезд (у него были проблемы со зрением). Овик похоронил отца и уехал на практику в Донбасс. Там он простудился, у него началось воспаление легких. Мать приехала за ним и привезла сына в Ереван. Долгое время он лечился в Дилижане, потом в Москве, в Кремлевской больнице, куда его устроил Арег, бывший тогда на высокой должности. Однако ничего не помогло, открылся тяжелый туберкулезный процесс, и 29 ноября 1940 г. Овика не стало.

Ашхен очень тяжело переживала смерть сына, сестры как могли пытались облегчить ее горе. На какое-то время она приехала к нам, в Ессентуки. С особой любовью она относилась к моему сыну, он напоминал ей Овика.

Ашхен прожила долгую жизнь и всю свою неистраченную материнскую любовь отдавала детям своих братьев. Ашхен и Овик похоронены рядом на Ереванском городском кладбище. Овик единственный мужчина из потомков Туманяна, место захоронения которого известно.

Вторым внуком поэта был Виген — сын Мушега Туманяна и Марии Сокальской. Единственный продолжатель рода Туманянов родился 30 августа 1920 г. Красивый мальчик перенял светлые краски внешности матери-польки и типично армянские черты отца. Сестра Вигена Анаит рассказывала, что Туманян часто брал внука на колени и ему одному позволялось стаскивать со стола деда фигурки животных, которыми тот очень дорожил. Глядя на него, Туманян говорил: “Он очень толковый, многого добьется в жизни. Видите, с каким вниманием он изучает жизнь, предметы...” Позднее Виген приходил в кабинет и тихо взбирался на кресло, чтобы не разбудить больного деда. “Он согревает мое сердце, вселяет веру в жизнь”, — говорил Туманян.

Виген рано начал писать стихи, увлекался физикой, математикой. После окончания школы поступил в Грузинский индустриальный институт. Но в январе 1940 г. его призвали в армию, а на четвертый день после начала войны всю его роту по приказу направили в военное училище — готовиться на лейтенантов и политруков. Фамилия Вигена была пропущена в общем списке. Перед ним стоял выбор: самому пойти в училище, ехать на передовую или остаться в Острогжске в запасном полку. И конечно, он отправился на фронт — командиром минометного отделения.

О том, каким был Виген, единственная надежда семьи Туманян, говорят его письма с фронта. В июле 1941 г. Виген получил ранение в ногу, пробита была и рука. Перевязав раны, он снова пошел в бой. “В госпитале объявляют набор добровольцев. Я скоро попрошусь”, — сообщал он в сентябре 1941-го своей сестре Анаит. В другом письме он писал домой: “Встречаясь с насильем, хочется сорвать этот бинт и бежать снова на фронт”.

В последний раз я и мама видели Вигена в Кисловодске в 1941-м. Его ранило в ухо и в руку. С большим трудом мы нашли его, тамошние армяне помогли — они встречали всех раненых, в надежде найти среди них своих родных. Из Тифлиса приехала мать Вигена. Потом Виген приехал к нам в Ессентуки. В этом юноше не было ни страха, ни желания задержаться подольше в госпитале. С еще не зажившими ранами он снова ушел воевать. “Только здесь возможен настоящий патриотизм”, — писал он домой.

Где только он не воевал: Сталинград, Ворошиловка, Рославль... 2 октября 1941 г. от Вигена пришло письмо из-под Москвы: “Очень возможно, что мне придется стать командиром взвода”... Это было последнее письмо Вигена Туманяна. Остались воспоминания и пачки писем с фронта.

На все запросы семьи не было получено ответа. Виген пропал без вести, как предполагают, погиб в 1942 г. под Москвой. Сам маршал Баграмян занимался поисками внука Туманяна, но тоже безуспешно. После обращения Ольги Туманян в Бюро розыска Министерства обороны стало ясно, что мы не узнаем, где покоится прах этого преданного Родине юноши, последнего прямого продолжателя рода Туманяна.

Левон Микаэлян ОПЕРАЦИЯ “НЕМЕЗИС”

В детские годы Акопу довелось стать свидетелем кошмарных событий: турецкие аскеры ворвались в его родное село Хюсеник в Харбердской провинции и учинили резню, во время которой погибли отец, дядя, дедушка, другие члены его большой семьи. “Вместе с матерью вытащили бездыханное тело отца и похоронили под орешинной...” Удивительно ли, что это стало самым сильным воспоминанием детства?

Тогда, во время резни 1894-1896 гг., было уничтожено триста тысяч армян. На протяжении долгой жизни Акопа Тер-Акопяна, а прожил он без года целый век, к ним присоединялись новые и новые сотни тысяч, миллионы невинных армянских жертв турецких убийц.

И удивительно ли, что, как бы ни складывался дальнейший жизненный путь мальчика — сиротский приют и знаменитая школа Перперян в Константинополе, учительство в родном селе, университет в Бостоне, где в 1909-1912 гг. он изучал литературу, философию, искусство, — судьба его была предопределена кошмаром, пережитым в детстве в Харберде и повторившимся на его глазах в 1909 г. в Киликии и в 1915-м — повсюду?..

И удивительно ли, что это предопределение привело его в 1904 г. в ряды “Дашнакцутюн”, вынудило, как и всех революционеров, принять новое имя — Шаан Натали и посвятить жизнь осуществлению справедливого возмездия: “У армянина, кроме турка, и большего, чем турок, врага нет, и месть армянина справедлива и боговдохновенна”?

Не имея возможности в годы Первой мировой войны вернуться в Европу, Шаан Натали занимается активной партийной дея-

тельностью: избирается членом ЦК и редколлегии издававшегося в Бостоне журнала “Айреник”.

Но вот война заканчивается, и Шаан Натали наконец отправляется в Ереван, где в сентябре-октябре 1919 г. впервые легально и на родной земле проходит 9-е Общее собрание “Дашнакцутюн”, делегатом которого он был избран.

В ходе Съезда были обсуждены многие неотложные вопросы, касающиеся прежде всего сохранения и развития недавно созданной Республики Армения. Но среди делегатов было немало и тех, кто считал наиглавнейшим вопросом возмездия, скорейшего наказания главарей младотурок, организаторов Геноцида армян. Тем более, что к этому времени уже не осталось сомнений: надеяться в этом вопросе на так называемое мировое сообщество бессмысленно. Приговоренные турецким военным трибуналом к высшей мере наказания преступники были вывезены англичанами на Мальту, а там отпущены на свободу и разгуливали по европейским столицам. Стало ясно, что приговор может быть приведен в исполнение только армянами.

Съезд “Дашнакцутюн” в обстановке глубокой секретности принял решение о проведении операции “Немезис” (“Возмездие”). Был сформирован ответственный орган (руководитель Армен Гаро) и Особый фонд (руководитель Шаан Сатчаклян), оперативное руководство операцией и ее материальное обеспечение было поручено Шаану Натали и Григору Мержанову. Был рассмотрен список подлежащих уничтожению палачей, состоящий из шестисот пятидесяти имен, из которых в качестве первоочередных отобрали сорок одно. Сбор информации для обнаружения преступников осуществлялся под руководством Грача Папазяна, сумевшего под видом турецкого студента проникнуть в высшие эмигрантские круги младотурок.

“Номером первым” был, безусловно, бывший министр внутренних дел Мехмед Талаат. Он и понес наказание первым — 16 марта 1921 г. в Берлине. За ним последовали бывший министр внутренних дел Азербайджана, организатор армянских погромов Бехбуд хан Дживаншир — 19 июля 1921 г., Константинополь; бывший премьер-министр Турции, подписавший приказ об уничтожении армян, Саид Халим — 5 декабря 1921 г., Рим; создатель и руководитель организации “Тешкилати-и-Махсусе” Бехаэддин Шакир и губернатор Трапезунда Джемаль Азми — 17 апреля 1922 г., Берлин; военный министр Турции Джемаль-паша — 25 июля 1922 г., Тифлис. И кто бы ни был непосредственным исполнителем приговора — Согомон Тейлерян, Аршавир Ширакян,

Арам Еркянян, Мисак Торлакян, Петрос Погосян, Степан Цагикиян или кто-то другой, — за исключением акции в Риме, которой руководил Григор Мержанов, — рядом с ним неизменно находился Шаан Натали — душа и мозг операции “Немезис”.

Казалось бы, уже ничто не остановит карающую десницу народных мстителей и хотя бы главные организаторы и исполнители Геноцида, в ужасе попрятавшиеся по укромным уголкам всего мира, не уйдут от наказания. Но руководство “Дашнакцутюн”, исходя из сложившейся политической ситуации, приостановило операцию “Немезис”. И хотя на Общем собрании “Дашнакцутюн” в 1924 г. в Париже Шаан Натали был избран в состав Бюро партии, противоречия между ним и основным ядром руководящего органа все обострялись, и прежде всего по “турецкому вопросу”. В результате в 1927 г. Шаан Натали вышел из состава Бюро, а в 1929 г. — из рядов партии.

На протяжении еще десяти лет Шаан Натали продолжал жить в Европе, принимал активное участие в издании газет “Азата-март”, “Марткоц” и “Амроц”, вокруг которых объединились не согласные с политикой Бюро бывшие дашнаки. Накануне Второй мировой войны Шаан Натали вновь уезжает в США, где, проработав длительное время в различных благотворительных организациях, отходит от общественной деятельности и живет изолированно. Возможно, самым ярким событием его жизни этих лет было посещение СССР в 1961 г. Писательство стало его основным занятием. К написанным еще в 20-е годы аналитическим работам “Туркизм от Анкары до Баку и турецкая ориентация” и “Турки и мы” (изданы в Ереване в 1992 г.) он прибавил множество новых трудов, которые, за редким исключением, так и остались неизданными. В эти годы им написаны и работы мемуарного характера, в частности воспоминания о проведении операции “Немезис”, фрагмент из которых я предлагаю вниманию читателей в своем переводе.

На этом наш вынужденно краткий рассказ о Шаане Натали можно было бы завершить. Но, пользуясь случаем, считаем необходимым сказать вот о чем.

Наверняка многие читатели зададутся вопросом: если заслуги Шаана Натали перед армянским народом столь велики и, во всяком случае, не уступают заслугам Согомона Тейлеряна, то почему многим из нас неизвестно даже его имя?

Ответ на этот вполне естественный вопрос не сводится к тому, что в советское время было невозможно даже упоминание имен участников операции “Немезис” — кроме, пожалуй, Согомона

Тейлеряна, которого к тому же представляли как мстителя-одиночку. Невозможно потому, что тогда пришлось бы сказать правду и о самой операции “Немезис”, и о ее организаторе — АРФ “Дашнакцутюн”, что способствовало бы росту ее популярности в народе. В этом причина абсолютной безвестности имен Шаана Натали и других участников операции в Советской Армении.

Однако это лишь часть проблемы, причем далеко не самая главная и не самая драматическая. Ибо и здесь главное — межпартийная борьба, трагическое и позорное для армянского народа явление, нанесшее колоссальный ущерб делу национального единения и армянскому освободительному движению. Мы называем это явление позорным, потому что герои, принадлежавшие к той или иной партии, другими партиями в лучшем случае просто не упоминались, не говоря уже о безобразных попытках приуменьшить или извратить сделанное ими. И поскольку все участники операции “Немезис” были дашнаками и сама операция проводилась под эгидой “Дашнакцутюн”, то все остальные наши партии предпочитали о них не вспоминать.

Но и это не все. Ибо тогда о них по крайней мере писали бы дашнакские авторы и СМИ этой партии. Но нет, ведь ряд участников операции “Немезис” — и Шаан Натали, и Арам Еркян, и Григор Мержанов — не только вышли из рядов партии, но и публично осуждали проводимую ею в отношении Турции политику. Здесь для нас не важно, кто был прав, а кто нет в те далекие 20-е годы, — важно только то, что вследствие внутривнутрипартийной размолвки наши герои оказались вне поля зрения и дашнакских историков, мемуаристов и публицистов.

В этой связи уместно еще раз напомнить, что объективной научной, внепартийной и неполитизированной истории армянского народа последних 150 лет, в частности истории национально-освободительной борьбы, пока не существует. Поэтому многие замечательные сыны нашего народа так и остаются “сиротами”, посмертная судьба которых никого не интересует. Но ведь времена меняются. Независимое армянское государство обязано взять на себя заботу о создании объективной, надпартийной национальной истории, чтобы вернуть народу его героев и мучеников. Ведь, как всегда, прав был Нжде, утверждая: “Нет партийных мучеников и партийных героев, есть национальные мученики и национальные герои”.

ШААН НАТАЛИ
(АКОП ТЕР-АКОПЯН)

ПО СЛЕДАМ ВЕЛИКОГО ЗЛОДЕЯ

Согомон с каждым днем становился все более меланхоличным и раздражительным, пока не признался мне, что он эпилептик^{*}.

Как-то он упал на улице и, содрогаясь в ужасных конвульсиях, поранил себе лицо. В ответ на мой вопрос, откуда эти ссадины, он печальным голосом поведал мне, что у него случаются припадки, но он скрыл это обстоятельство от меня, опасаясь, что из-за болезни дело Талаата может быть поручено не ему. И он посмотрел мне в глаза, ожидая ответа.

Новость была неожиданной и тревожной. Но решение созрело во мне мгновенно. Громко, категорическим тоном, чтобы он поверил, что я выполню данное ему обещание, я сказал:

— Согомон, сейчас, когда все объяснилось, я не намерен упрекать тебя за то, что ты скрыл от меня свою тайну, так как сознаю, какую жажду мести ты носишь в своей душе. Так что слушай. Раз ты сдержал свое обещание и по моей телеграмме немедленно приехал в Берлин, зная о характере своей болезни и ее неожиданных проявлениях, я как руководитель беру на себя всю ответственность и категорически заявляю: никто у тебя не отнимет славу и доблесть убить Талаата, если только ты сам не откажешься. Слово мое нерушимо.

Он улыбнулся и вздохнул, словно сбросив с себя тяжкое бремя.

Я продолжил:

— И вот почему. Когда ты рассказал мне о том, как упал на улице, что-то подсказало мне: возможно, терзающие твою душу злые бесы, как верили в это наши бабушки, исчезнут, узнав о совершенном тобою богоугодном деле. И ты исцелишься от проклятой болезни, лекарства от которой медицина еще не знает. До этого, однако, я распоряжусь, чтобы тебя обследовал и лечил самый лучший специалист в Берлине.

^{*} Первый припадок у Согомона случился во время посещения родного дома в 1916 г., когда он узнал о том, что почти все члены его семьи погибли.

Улыбка Согомона становилась все шире.

— Послушай еще вот что: теперь мне ясно, почему ты несколько раз просил дать тебе револьвер и разрешить расправиться с Джемалем, ибо он злодей не меньший, чем Талаат, а на след Талаата еще предстоит выйти. Скажу еще раз. Возмездие убийцам армян должно начаться только и только с Талаата. И ты будешь ждать и получишь револьвер только в тот день, когда будет установлена личность Талаата. Джемаль, Азми, Бехаэтдин Шакир и многие другие, которые, может быть, даже собственными руками вырезали тысячи людей, должны ждать своей очереди — после него. Не забывай, что в глазах всего мира они — не Талаат.

То, что поручено нам сделать, — это не месть турку-армяноубийце в старом понимании. Наша цель — на глазах у всего мира предстать перед судом над трупами турецких палачей армянского народа, бросив в лицо тем, кто продает туркам море армянской крови по цене ведерка нефти: “Вы поклялись счесть наших мертвых, установить число и возместить их кровь каплю за каплей, и мы поверили вам... Вы же, когда настал этот день, не только предали нас, цинично заявив, что “у мертвых нет числа”, но и отступились от чудом спасшихся, не считая их за людей. Вы вынудили нас сделать это. Вот мы и пришли, чтобы судить вас и Талаата в ваших столицах. Ваша жестокость дала нам право на это, — так говорит вместе с нами и кардинал Мерсье*.

Теперь понятно тебе, дорогой Согомон, почему первым избран именно Берлин, где нашли приют преступники-армяноубийцы? И почему ты, будь это днем или ночью, на улице или в магазине, в укромном месте или на глазах у полиции, разнесешь череп этого убийцы номер один нашего народа и даже не попытаешься бежать, — останешься на месте, попирая труп ногой, и сдашься полицейским, которые придут и арестуют тебя.

Перед берлинским судом ты станешь также обвинителем Германии — во имя миллионов наших жертв. Только такой суд может быть справедливым.

* Бельгийский кардинал Мерсье, узнав о подробностях геноцида 1915 г., заявил: “Если по отношению к армянам не будет проявлена справедливость, армяне, всей нацией, имеют право не подчиняться никаким законам”.

“АЛИ САЛИХ”

Последняя неделя января 1921 г.

Логово Талаата обнаружено в западном квартале Берлина — Шарлоттенбурге, на застроенной жилыми домами Гарденбергштрассе, в пятиэтажном доме номер четыре.

Это уже проверено множество раз.

Акоп Зорьян — замечательный трапезундский армянин, возглавляющий кружок студентов Берлинского университета, бледное лицо и немецкий язык которого даже самого пронизательно-го агента не заставят подозревать в нем армянское происхождение, — сообщил мне, что на двери второго этажа есть табличка с арабской надписью “Али Салих”.

Было ясно, что под именем Али Салих в Берлине — “соучастнике” геноцида, скрывается Талаат вместе со своей женой, красавицей-албанкой.

Однако как он выглядит, этот кровожадный зверь?

Дни проходили в мучительных круглосуточных бдениях возле дома номер четыре на Гарденбергштрассе, в надежде узнать его будь то под электрическим освещением или при солнечном свете. Но все попытки встретиться с ним лицом к лицу оставались безрезультатными.

Никто из нас в лицо его не знал. Единственной нашей подсказкой было фото в книге Моргентау: отвратительный тип с феской на голове, раздувшийся от выпитой армянской крови. Однако из множества проходящих сквозь эти двери людей, чьи лица и походка выдавали их турецкую принадлежность, никто не был похож на фотографию.

Понятно. Любое, ожидающий, что не сегодня, так завтра придется отвечать за свои злодеяния, и пытающийся скрыться под именем “Салих”, не мог не похудеть — так, чтобы превратиться из жирного азиата в европейского “джентльмена”...

Вот уже две недели в окнах не заметно никакого движения и по ночам свет на втором этаже не горит. И сомнения терзают мою душу.

Что означает эта внезапная перемена? — спрашиваю я себя каждый вечер в отчаянии и всю ночь ищу ответа. И соратники мои тоже. Неужели неосторожный шаг кого-то из нас вызвал подозрение и зверь сменил свое убежище?

Вопрос этот мучает неотвязным кошмаром. Если это так, наш многолетний труд окажется напрасным и придется потратить ме-

сяцы, а может быть, и годы, на новые, более мучительные поиски. Где и как искать его, заботливо скрываемого в четырехмиллионном городе?..

Пытаюсь проанализировать прежде всего собственные шаги, самого себя. Может быть, этот неосторожный — я? Ведь именно я, ведомый “перстом Божьим”, попал в тот отель по соседству с убежищем Талаата, где собираются преступники и мимо которого я хожу ежедневно к магазину вали Трапезунда Джелала Азми (Хилала^{*}).

Может быть, мои попытки встретить Талаата в турецком ресторане или нечаянное выражение лица в момент, когда я сел за столик Бехаэтдина Шакира, вызвали подозрения?

Кошмарные вопросы, на которые нет точного ответа... И мне остается терзаться, приказав Согомону, чтобы он не приближался к Хилалу и выкинул его из головы, пока не свершен суд над Талаатом.

Наши сомнения развеял и вернул нам надежду Ахмет Риза в своем газетном интервью.

Это были дни, когда сто двадцать преступников, размещенных на Мальте под макиавеллевское обещание англичан “строжайше осудить и наказать”, несмотря на батареи и пушки, мимо которых в Средиземное море и птица не пролетит, бежали оттуда в шлюпках и добрались до Рима.

Классическое свидетельство бессовестного английского макиавеллизма в сделке, заключенной с Мустафой Кемалем. Ответ тем нашим умникам, кто в Константинополе претендовал на роль монопольного распорядителя армянской судьбой.

А заверения Верховного комиссара стран-победительниц Харингтона, мол, армяне люди “цивилизованные”, “христиане”, были не чем иным, как попыткой удержать руку армян — самых справедливых судей.

Приказали: необходимо отправить, даже ценою жизни, главных организаторов уничтожения западных армян и передать их английскому интеллидженсу. Запрещено судить их самим на месте. Потому что наши “большие союзники” обещали нам самым строгим образом осудить и наказать этих убийц нации и добиться торжества справедливости. Иначе нас, армян, отнесут к числу нецивилизованных, диких народов и откажутся выполнять свои обещания.

^{*} Хилал — полумесяц (тур.).

И это требование “величайшего заступника” армян — Англии, переданное нам Верховным комиссаром Харингтоном.

Так и поступили замечательные армяне, которые готовы были осуществить справедливое возмездие на месте. И вот величайшая из величайших — Великобритания — посылает их из Мальты в Анкару, в дар Мустафе Кемалю, с тем чтобы они и с кавказскими армянами сделали то, что сделали с турецкими. А графы устраивают в их честь приемы в залах римских отелей.

И “товарищ” Ахмет Риза в своем интервью воспекает турецких “кагриманов”^{*}, заявляя, что “по этому радостному случаю в Риме созывается конференция, в которой примет участие и Талаат-паша...”

Так кончились наши кошмары. Тысяча тебе благодарностей, Риза-бей...

Эти публичные сообщения не только развеяли наши кошмары, но и убедили в том, что, прожив в безопасности с ноября 1918 г., когда Талаат — Энвер — Джемаль бежали из Константинополя и укрылись в берлинских логовах, до конца января 1921 г., то есть более двух лет, они отныне не опасались сообщать о своих действиях — с указанием мест, имен, не опасались, что мстительная рука может добраться до них в столицах Европы.

И это обрадовало нас. И успокоило наши души.

Надо непременно отправляться в Рим (возможно, Святой Петр, в отличие от Лютера, улыбнется нам). В надежде, что счастливая случайность поможет нам хотя бы познакомиться с обликом самого страшного чудовища в человеческой истории. Так как и он, и все они, вероятно, считают себя неуязвимыми — благодаря этому миру, вразнос торгующему кровью.

А дальше — швырнуть в лицо этому бесчестному миру труп Талаата.

А для этого надо прежде всего осознать, что только армянин может быть беспристрастным хозяином своей судьбы, а еще указательный палец осиротевшего сына невинно убиенного отца — на спусковом крючке.

Слава драконоборцу Ваагну, в рожденных им Согомонах недостатка нет.

^{*} Кагриман — герой (тур.).

Это был мой долг — пусть пройдя через ад, открыть счет справедливого возмездия казнью главного палача и возместить хотя бы пригоршней крови пролитый ими кровавый океан.

А тем, кто считает, что отправляться в тридцатичасовой бессонный путь по железной дороге из Берлина в Рим, надеясь на счастливую случайность, это не наука, а поэзия, ответчу: “Пусть поднимет палец тот умник, который уверен, что ему известны в точности секреты и законы счастливой случайности”.

25 января 1921 г. Полночь.

До завтра необходимо любой ценой оформить все бумаги, без которых невозможно выехать за пределы Германии.

Полицейский участок, Центральная полиция, визы, транзитные — для Баварии, Австрии и въездная — для Италии. В десять раз сложнее и мучительнее получить визу на выезд, нежели на въезд.

Требования послевоенного времени. Надо выполнять.

“ЧЕЛОВЕК С ВОКЗАЛА”

28 января.

Сажу в шестиместном купе второго класса поезда Берлин — Милан.

Напротив меня... три турка, один из которых, с виду явно знававший славные деньки и пользующийся почтением и опекой двух сидящих рядом телохранителей, привлекает мое внимание, которое я, однако, скрываю за холодным “английским” безразличием, стараясь не выдать своей национальности и знания их языка.

В восемь дают последний свисток. И лязгают колеса.

Смотрю с видимым безразличием в окно, стараясь убедить сидящих напротив, будто я не могу быть никем, кроме как беззаботным, самодовольным существом, не интересующимся происходящим в мире.

И размышляю над сентенцией наших бабушек и дедушек о том, что “нет худа без добра”, подтверждение которой вижу в сидящих напротив турках, которые в свою очередь изучают меня

и приходят к выводу: “Еа еаланджэ, эшек ингилиз, еа паралэ ахмах америкалэ ерифлerten пириси...”^{*}

Про себя с благодарностью принимаю присвоенные мне титулы.

Я предполагал, что и они едут в Рим для участия в конференции, по крайней мере тот из них, который обладает соответствующими внешними признаками.

Всякие сомнения рассеялись, когда знакомый облик двоих провожающих: Джемаля Азми и второго, которого мы позже прозвали “Человек с вокзала”, — подсказал нам, что он один из принадлежащих к высшему обществу преступников, едущий обнять и расцеловать “бежавших” с Мальты соратников.

Вскоре выяснится, что спутником моим был один из авторов программы уничтожения армян — Бедри-бей, тот самый Бедри, который в качестве начальника полиции Константинополя 24 апреля лично руководил арестом сотен армянских интеллигентов и их последующим уничтожением...

Я целую провожающих меня Согомона, Акопа и В., они желают мне успеха, и мы расстаемся.

Они снизу, в не вызывающей подозрений позиции, я сверху, из окна вагона, изучаем их с полчаса, переговариваясь глазами и бровями, сравниваем лица тех, кого видим впервые, с фотографией Талаата. И фото вновь обманывает нас.

Раздается последний свисток. Они прощаются с турецкой церемонностью, и один из них, а за ним и двое телохранителей поднимаются в вагон.

И вот сюрприз! Входят в купе, где я уже расположился.

Этот сюрприз вызывает поток вопросов, убедительных ответов на которые у меня пока нет.

ТАЛААТ

Вернулся я в Берлин с пустыми руками. Те же ночные скитания вверх-вниз по тротуарам вдоль Гарденбергштрассе, 4 и Уланда, 48, где свет в окнах ярок и говорящ. Днем одни и те же, порядком надоевшие, наблюдения за магазином Джемаля Азми до самого его закрытия. Те же посещения кафе-ресторана Моца.

^{*} Не обращайте внимания, это ишак-англичанин, а может, глупый толстосум-американец или еще кто-нибудь из этих безголовых... (тур.)

Это три главные точки, которые, как мы надеемся, не сегодня завтра должны прояснить тайну.

Кто знает, какой из дней принесет долгожданную весть...

Мог ли кто подумать, что это уже был тот самый день, 28 января, а человек на вокзале Алтабанхоф, не имеющий ничего общего с фотографией, напечатанной в книге Моргентау, и был сам Талаат.

Позже выяснилось, что Талаат действительно участвовал в конференции в Риме и уже вернулся. И вот пришел провожать Бедри через Анкару в Бухару — к Энверу-паше.

Неожиданно удалось снять комнату в квартире, расположенной прямо напротив логова Талаата, окно ее смотрело на окно и дверь дома номер четыре. Она стала наблюдательным постом Согомона, чей бинокль проникал вглубь гостиной злодея.

Однако чудо все еще медлило.

Так прошло и 11 марта — с каждодневным блужданием вокруг логова и каждодневным разочарованием.

Уже полночь. Нам оставалось отправиться в постель.

Я сказал: ребята, пусть наша вера останется непоколебимой. Прошло сегодня, придет завтра. Так настанет и день исполнения нашего обета. Доброй ночи...

И в эту ночь мне явилась весть — во сне, боговдохновенным голосом.

Расскажу. И вы, умники, во имя всех наших святых, растолкуйте мне тайну этой неожиданности.

...Война между армянами и турками. Поле боя — Берлин. Вот уже месяцы убиваем друг друга. С согласия обеих сторон устанавливается перемирие — чтобы похоронить погибших и заключить мир.

Штабы обеих сторон — на одной улице, в домах, стоящих друг против друга. Окна без занавесей, открыты. Мы ясно видим их лица. Их четверо. Лица троих — Джемаля Азми, Бехаэтдина, Джемаля-паши — обращены к нам, четвертый стоит спиной, и его лица мы не видим. Они сидят вокруг квадратного стола, совещаются.

И нас четверо: Согомон, Акоп, В. и я...

Прошу, подождите, ученые дамы и господа, не перебивайте. Дескать, объяснение этого явления очень просто. Мол, в душах, месяцами днем и ночью преследующих одну цель, мог сформироваться облик тех преступников, которых они должны покарать, осуществляя возмездие. И явился им во сне.

Это и мне, невежественному, известно.

Однако послушайте!

Внезапно четвертый оборачивается к нам... и все мы вместе восклицаем: “А, Человек с вокзала, Человек с вокзала!”...

И голос, неизвестно чей и неизвестно откуда доносившийся, отчетливо произнес:

— Это он, палач армян Талаат, который на вокзале Алтабанхоф обманул вас, и вы пустили его...

Теперь объясните, во имя вашей науки. Наши души ищут Талаата, наши глаза знают его по фото, данному Моргентау. Следовательно, он должен был явиться нам в знакомом для нас облике. Он же, однако, предстает перед нами в неизвестном нам, совершенно ином обличье. Четыре пары глаз полчаса изучали его и объявили, что это не он, а незнакомый голос говорит: Талаат на фото в книге Моргентау — это Талаат Константинополя, а Талаат Берлина — это незнакомый “Человек с вокзала”.

Это неожиданное откровение я до сих пор постичь не могу.

Всю ночь до рассвета перед моими глазами стояли Талаат из книги Моргентау и запечатлевшаяся в моей памяти фигура “Человека с вокзала” Алтабанхоф. Один — разбухший от армянской крови турок, другой — обманывающий мир европеизированный пахлеван, смотрят на меня, опровергая один другого... И по велению свыше я становлюсь творцом-рисовальщиком, точно так, как обычные рыбаки когда-то стали апостолами. Под моим карандашом кроваво-красная феска на фото превращается в derby hat^{**}, опадают надутые щеки, венник пушистых усов обстригается до полоски голливудских усиков... И вот загримированный “Человек с вокзала Алтабанхоф” постепенно превращается в натурального Талаата из книги Моргентау.

Уже рассветает.

12 марта, пятница.

Мы сидим в “Телчо”, скромном кафе у станции метро, где средний класс, возвращаясь с работы, утоляет жажду кружкой пива и болтовней снимает дневную усталость.

* Пахлеваны — бродячие шуты, канатоходцы и акробаты.

** Шляпа-котелок.

И мы, постоянные посетители “Телчо”, принадлежим к тому же среднему классу — за исключением случаев, когда нам нужно взглянуть людьми из высшего общества.

Нас пятеро, четверо принявших обет и я.

Говорю:

— Ребята, эта наша встреча последняя. Наши блуждания кончились. Не удивляйтесь!

И достаю из кармана рисунок, который под моими неумелыми пальцами за ночь стал портретом “Человека с вокзала”.

— Скажите, — говорю, — узнаете ли вы этого человека?

Все, кроме одного — его не было на Алтабанхофе 28 января — мгновенно отвечают: “Человек с вокзала”. И тут я им показываю имя под портретом: “Талаат-паша”.

Недоверчиво хмыкают. Я улыбаюсь. Они, пораженные, передают из рук в руки листок бумаги, преподнесший им такой сюрприз.

— Вот негодяй-армяноубийца, как он обманул нас... Иначе в тот же день валялся бы, как дохлая собака, на кафельном полу вокзала... Жаль... — Это Согомон простонал.

— И мне не пришлось бы тащиться в Рим и удостоиться титула “глупого осла”, — говорю я со смехом...

— Теперь слушайте, — продолжаю решительно. — Я позвал вас в последний раз, чтобы сообщить, что цель нашей акции состоит не в том, чтобы прикончить пса-армяноубийцу и скрыться. Ты останешься на месте, поставив ногу на труп, и будешь ждать прихода полицейских. Они должны арестовать тебя. Это — неперемное условие.

Суд — второй акт эпопеи. И для того, чтобы этот второй акт прошел успешно и можно было добиться оправдательного приговора, необходимо представить дело так, будто это не заранее продуманное, организованное возмездие, а стихийная личная месть армянина, единственного оставшегося в живых из многочисленной семьи. Каждый из вас должен придумать историю на тот случай, если возникнет подозрение в вашей связи с Согомоном. Историю, которая опровергнет всякое обвинение в соучастии. Идите и придумывайте. Отныне других заданий для вас нет. Не сегодня завтра судный день.

Однако не хочу лишать вас права высказать свое мнение, если вам есть что сказать. Говорите, ребята, я слушаю.

После некоторой паузы один сказал:

— Не разумнее было бы убедиться, что мы не ошибаемся, и раздобыть еще какие-нибудь дополнительные факты, кроме этого неумелого рисунка?

Другой:

— Не лучше ли пригласить из Константинополя кого-либо, кто лично знаком с Талаатом?

Вокруг этого “пригласить кого-либо из Константинополя” как последнего достоверного способа проверки завязалось обсуждение.

Согомон молчит. Вглядываюсь в его лицо, пытаюсь разгадать его мысли. Не хочу спрашивать прямо, опасаясь вынудить его к двусмысленному ответу.

— Я выслушал ваши мнения, и вот мое последнее слово, — говорю я. — Я ценю ваше требование дополнительной проверки. Ибо только я отвечаю за успех или провал этого дела, и потому озабочен этим более, чем кто-либо из вас. У меня, однако, сомнений нет. Так что забудьте об идее привезти кого-либо из Константинополя, которая только приведет нас к новым метаниям. К тому же неизвестно, когда этот кто-то сможет приехать и сможет ли он узнать Талаата, которого не видел вблизи после 1914 года, когда тот уже не был “товарищем Талаатом”, знакомым по страницам армянских изданий. Сейчас 1921 год, то есть прошло уже семь лет. Так что эта проверка вряд ли будет более достоверной, чем мой рисунок. А ведь может случиться, что пока мы будем мешкать, Талаат сменит адрес. Так что беру всю ответственность на себя и вопрос считаю закрытым. Благодарю вас за помощь и спокойной ночи.

Согомон и я идем вдоль Гарденбергштрассе к наблюдательному пункту Согомона. Идем рядом, Согомон и я, походкой человека, боящегося раздавить муравья. Спрашиваю:

— Согомон, ты промолчал, а я нарочно не спросил твоего мнения. Сейчас, когда мы одни, скажи откровенно, что ты думаешь об этом? Твое мнение для меня важнее всего.

Он отвечает с присущей ему непосредственностью:

— Признаюсь, разговоры о дополнительной проверке и во мне вызвали сомнения. Чтобы окончательно рассеять их, разреши мне хотя бы раз, только один раз своими глазами увидеть “Человека с вокзала”, входящего или выходящего из дома номер четыре. Я буду из своего окна выслеживать его днем и ночью, чтобы скорее наступил счастливый для нас день.

— Согласен, — говорю я, — не хочу, чтобы у тебя осталась хотя бы тень сомнения. Мы подошли к двери. Свет в окне дома номер четыре еще горел.

Я передал ему револьвер со словами: “Испытан и готов выполнить приказание твоего указательного пальца. Спокойной ночи...”

Субботный день прошел спокойно, в повседневных заботах.

14 МАРТА, ВОСКРЕСЕНЬЕ*

Зазвонил телефон. Согомон. Голос дрожит от волнения.

— Приходи... ко мне... немед-лен-но...

— Что случилось, почему ты так взволнован? — спрашиваю я в страхе.

— Не могу, — задыхается он.

— Сейчас же выхожу. Если можешь, жди у двери, чтобы хозяйка не увидела меня, — говорю я и вешаю трубку.

Тысячи дурных мыслей пронесаются в голове, самая безобидная из них — вдруг у Согомона очередной приступ болезни?

Вижу его — он стоит у двери. Значит, никакого припадка нет. Но что же случилось?.. Поднимаемся в комнату. Его волнение еще не прошло, голос дрожит.

— Садись, — говорю, — успокойся и расскажи, что ты так всполошился? Ну и напугал ты меня!..

Улыбается. И рассказывает.

— Сажу у окна, смотрю, не отрывая глаз, на вход в дом номер четыре. Вдруг дверь открывается, и кто же из нее выходит? Сам “Человек с вокзала”, одетый так же, как в тот день. Оглядел внимательно улицу и зашагал. Я тут же схватил револьвер, проглотил рюмку коньяка и сбежал вниз. Но дверь не открывается! Что ни делаю, не открывается, пытаюсь сломать замок — бесполезно... Тут подошла хозяйка и открыла дверь. Выскочил я на улицу — нет его. Видимо, свернул на одну из боковых улиц. Но на какую? Я побежал, свернул в первую. Нет. Во вторую — нет и нет. Жаль, упустил добычу. Вот в чем причина моего волнения. Вызвал тебя, чтобы рассказать об этом. Наполняю рюмки.

— Выпьем, — говорю, — за успех священного обета и за твое здоровье, Согомон. Выпили.

— Сегодня сбежал — завтра ваши пути пересекутся, и он упадет на полдороге, — продолжаю я. — Нет худа без добра. И в том, что произошло, есть своя удача, как было во время двадца-

* Спустя годы я случайно узнал, что это воскресенье было “Днем судей”... Какое совпадение!

тичетырёхчасовой задержки моего отъезда в Рим, когда случай свел нас с “Человеком с вокзала” — Талаатом.

Так должно было случиться — чтобы замок на двери не послушался тебя и спас обреченного на смерть, — благодаря этому мы сможем уничтожить все доказательства того, что наша акция была задуманной заранее, запланированной. Ведь все вещи, которые будут обнаружены в твоей комнате, особенно бинокль, взятый на мое имя, свидетельствуют о том, что нам хотелось бы скрыть. Дай мне бинокль, все твои бумаги и записную книжку. Кроме тебя самого и револьвера никаких других улик быть не должно. И мы рвем и сжигаем все бумаги, уничтожаем все подозрительные предметы. При расставании Согомон сказал:

— Позвони завтра в двенадцать часов. Если я не отвечу, значит, Талаат вышел из дома и труп его валяется на тротуаре.

Говорю, вздыхая:

— Завтра понедельник. И я вспоминаю тот черный понедельник, когда я стал сиротой. Это было 31 октября 1895 года, когда на глазах матери растерзали моего отца, ее единственного брата и дедушку. А я, десятилетний мальчик, уцелел только потому, что во время панического бегства меня, потерявшего в пути отца, мать, сестер, подхватила рука соседа-армянина, потащила за собой и спасла для этого и последующих возмездий. Как страстно мечтала моя душа, чтобы днем расплаты величайшего армяноубийцы оказался понедельник!

Обнявшись и расцеловавшись, мы расстались.

СОН ВТОРОЙ

И воскресенье прошло... В полночь я уже в своей комнате. Я спокоен, только сердце трепещет в надежде на завтрашний день. Заснул безмятежно. И вижу сон.

...Стою посреди огромного поля, покрытого снегом невиданной белизны. Я без пальто, с непокрытой головой, но мне не холодно. Только голова чешется, словно в волосах куча блох. И я расчесываю их, расчесываю, и с каждым взмахом гребня блохи горстями сыплются на снег. Я давлю их ногами, давлю до тех пор, пока не приканчиваю всех и голова моя не перестает чесаться.

Утром, когда я открыл глаза, мне вспомнился мой сон трехдневной давности. Однако я в сны не верю, к тому же так поглощен предстоящим звонком, что считаю минуты, оставшиеся до двенадцати часов, и про сон забываю.

Наконец двенадцать часов. Звоню. Отвечает хозяйка, которая сообщает, что Согомон уже час как вышел и пока не вернулся.

Я выбегаю на улицу. У первого же продавца покупаю сегодняшние газеты. В них нет ничего интересующего меня.

Звоню снова через час.

— Не вернулся...

Говорю самому себе: “И не вернется... Он сделал то, что должен был сделать...”

Ох, как тяжелы минуты ожидания... Я уверен, что все прошло, как было запланировано, но надо дождаться трех часов, когда новость появится на первых полосах вечерних газет.

Наконец три часа... И на первых полосах газет огромными буквами:

“УБИТ ТАЛААТ-ПАША”.

И краткая история о том, что армянский студент по имени Согомон убил на Гарденбергштрассе бывшего министра внутренних дел Турции Талаата-пашу. Оказавшаяся рядом женщина упала в обморок. Убийца пытался бежать, однако был задержан прохожими и сдался полиции Шарлоттенберга... и т. д.

Благословляю твою карающую десницу, Согомон...

Немедленно была образована группа защиты во главе с Лепсиусом. Меня умоляли покинуть Берлин во избежание неожиданностей. “Ты свое дело сделал. Остальное предоставь нам, а сам со спокойным сердцем уезжай из Германии”, — убеждали меня.

Газеты уже начали рассказывать историю уничтожения армян в 1915 г. с душераздирающими подробностями, особо подчеркивая роль Талаата. Армяне Берлина воодушевлены: высоко подняв голову и выпятив грудь, они на улицах громко обсуждают с немцами героическую акцию Согомона.

Мне остается уехать.

В день отъезда соратники мои собираются на вокзале, чтобы проводить меня в Брюссель. Обнимаюсь с каждым и прыгаю в вагон.

Громкий и протяжный свист паровоза. Стучат колеса. А я, погруженный в глубокие раздумья, пытаюсь найти ответы на вопросы, которые оставались без ответа с момента моего приезда в Берлин и до этого самого дня. Цепь черно-белых звеньев: тро-

нешь — рассыпаются, исчезают. И вдруг появляются вновь, чтобы терзать душу.

Спрашиваю себя, существуют ли эта цепь, эти звенья, отрицающие и подтверждающие друг друга, существует ли некий тайный закон, управляющий этой загадкой? Если существует, то какой? Что за гениальный ум создал его, какая чудотворная рука выстроила эти звенья, отрицающие друг друга и неотделимые одно от другого?

Или все эти одновременно хорошие и злые, злые и хорошие неожиданности — случайные события, происходящие просто так, без какой-либо закономерности, совпадения, цепь которых завершилась убийством Талаата?

Вспомним эти звенья: возможно, ученый ум подскажет точное слово моему невежественному сердцу, которое ищет, ищет его и не находит.

Приехал я в Берлин в полночь, уверенный, что меня ждет комната в отеле, указанном Аво, где я, возможно, смогу обнаружить зверя, в поисках которого пересек моря и континенты.

Но мои ожидания не сбылись. Неожиданность и разочарование. Звено первое.

Это я могу как-то объяснить. Для проникновения в такие логова существует множество условных знаков и негласных договоренностей. Я пренебрег ими. Взятки оказались бессильны. Я должен был быть наказан.

Прошу найти мне комнату все равно где, лишь бы не проводить ночь на улице.

Доброжелательный портье звонит по телефону и наконец сообщает, что есть какой-то строящийся отель с единственной уже обустроенной комнатой и при желании я могу провести ночь там.

Он вызывает такси, оно останавливается перед отелем, весьма сомнительным на вид. Однако страх остаться ночью на улице вынуждает меня согласиться. И я становлюсь первым обитателем еще не существующего здания, которое станет для меня лучшим из пристанищ, ибо недели спустя выяснится, что я нахожусь в непосредственном соседстве с тем, кого отчаялся найти в Адлоне. И я каждое утро и каждый вечер буду проходить мимо дома номер четыре. Звено второе.

И я мучаюсь вопросом: закрыла ли чья-то рука предо мною одну дверь и открыла другую, сказав: “Не здесь, отведу тебя туда, куда надо”? Или это было просто “совпадение”?

Или вот итальянская виза. Чиновник преподает мне урок выдержки и, соблюдая закон, обуздывает мое нетерпение, задер-

жав отъезд на двадцать четыре часа. Что это? Только ли случайность и наказание за пятиминутное невольное опоздание? Или воздаяние, плата за трудности на пути паломника к выполнению принятого обета — в виде сюрприза на вокзале?

И сны, посещающие меня ночами, сны, в которых исполняется принятый мной обет, которые являют обманчивые картины, ускользающие днем. Они начинают говорить и возвещают, что обет мой свят и исполнение его близко.

События постепенно отвечают на все вопросы. Жаль только, что пока их закодированный язык мне недоступен.

Смотри, вот Согомон, внезапно проснувшийся ото сна. В сневидении мать явилась к нему из принесшего смерть армянам ущелья Кемаха и сказала:

— Будь проклято вскормившее тебя мое молоко, ибо ты увидел Талаата и не отомстил... Как постигнуть это умом?

Исполненная жаждой мести душа Согомона призвала убитую мать, и призрак матери является к нему, требуя, чтобы дух его не знал колебаний и не дрогнула рука.

А каприз железки, называемой замком? В тот момент, когда Согомон мог сказать матери:

— Милая мама, вот тебе труп того, кто убил тебя и тысячи тысяч подобных тебе армянских матерей... Благословенно твое молоко, вскормившее меня...

Однако кусок железа неожиданно закрывает перед ним дверь. Как тут армянину не утрашиться проклятия, существующего только в армянском языке!

Только потом он сообразит, что каприз куска железа должен был случиться, чтобы исправить непредусмотренный просчет — уничтожить следы, чтобы не дать возможность обвинению воспользоваться этим просчетом, и победно завершить богоугодное дело.

То же и с попыткой Согомона к бегству.

— Было решено: “Не бежать ни в коем случае... Будешь стоять на месте, поставив ногу на труп злодея...”

А ты попытался убежать, нарушил обещание... Да еще получил удары по голове... Смотри, ты похож на имама в чалме... Среди бела дня, на улице, где тысяча глаз следит за тобой и тысяча ртов кричит: “Убийца, преступник, держите его, ловите его!”... Почему ты решил убежать, нарушил обещание?”

У Согомона нет ответа. Лишь бормочет: “Не знаю...”

Ответ содержится в полицейском протоколе.

“Допрос второй.”

– Во время первого допроса вы сказали, что приехали в Берлин с целью убить Талаата-пашу. Вы подтверждаете ваше заявление?

Согомон:

– Не помню, что я говорил. Голова, видите, разбита в кровь. Я не помню. Мама сказала: вот убивший меня, убей его, сынок. И я убил”.

Тем самым перечеркивается его первое заявление и обвинение лишается еще одного аргумента.

Так даже в суде Берлина — “соучастника” преступления — будет осужден Талаат. И Согомон с высоко поднятой головой выйдет из зала суда.

Назовите это “случайностью”, “совпадением”, считайте это суеверием, фатализмом, как хотите, — я покорно соглашусь с любыми оценками.

Не говорите только “выдумка”, “сказка”, “легенда”.

Так как все, что рассказали вам эти заполнявшиеся изо дня в день страницы, — все это реальные события, зафиксированные с точным указанием действующих лиц, времени, мест...

Стучат колеса, дребезжат вагоны, поезд везет меня к новым “случайностям”, цепочка которых завершается трупами талаатов — как возмездие за бесчисленные армянские жертвы и во имя любви к человечеству.

Артэм Григоренц КЕМ БЫЛА АЙАСТАН ГЕВОРКЯН?

Как-то раз, приехав по делам из Тбилиси в Ереван, я заодно исполнил просьбу своего друга Мелика (Мелкона) Сапонджяна — передал небольшую посылку его родственнику, профессору Ереванского госуниверситета Рудольфу Григорьевичу Геворкяну. Простое поручение стало началом теплой дружбы с этой замечательной личностью, за что я искренне благодарен своему другу — столь же неординарному человеку.

Прежде мы с Меликом работали на Тбилисском станкостроительном заводе имени Кирова, теперь уже, увы, закончившем свой век. Выпускник ФЗУ, он прошел путь от токаря до заместителя начальника производства. Отца Мелика репрессировали в 1937 году, его вырастили мама и бабушка. Он гостеприимный хлебосол и тамада истинно тбилисского замеса. Его хобби домашние животные. Мелик страстный канареечник, голубятник. В его курятнике довольно кудахчут какие-то необыкновенно крупные пестрые хохлатки, которых важно обхаживает осанистый петух такой же экзотической породы. У Сапонджянов живут еще две таксы, кошка, попугай... Даже в брежневские времена в своем частном домике в районе Нахаловки Мелик держал породистую корову. Когда наступили времена гамсахурдиевского беспредела, его отстранили от должности. Но и в новых условиях он сумел удержаться на ногах: профессионально занялся разведением разной домашней живности, содержал свиноматок мясной породы “Ландрас”. Дело это хлопотное, тяжелое. Но ведь не уподобляться же было ныне спивающемуся безработному сослуживцу, который в свое время ухватил Меликово кресло, ничего не смысля в налаженной им работе!

А теперь расскажу о Рудольфе Григорьевиче. В Ереванском госуниверситете он заведует кафедрой минералогии, петрологии и геохимии. Приезжая в Ереван, я не упускаю возможности пообщаться с ним. Он помнит массу разных историй, причем всегда точно называет множество дат, фамилий и имен. Рассказывает вкусно, с тонким юмором и самоиронией. В совершенстве владеет армянским, русским и немецким языками, в беседах со мной старается щегольнуть грузинскими фразами и отдельными словами, которым выучился у своих тбилисских коллег.

Однажды мы гуляли с ним по городу, он предложил полакомиться мороженым, и мы завернули в летнее кафе какого-то тенистого парка. В ожидании официанта он предался воспоминаниям. Рассказал, что прежде на этом месте был оптовый рынок Гантар. Уже с рассвета здесь торговали свежей форелью из Севана. В полдень, ровно в двенадцать, на рынке появлялся милиционер по имени Андрей. Старожилы Еревана и теперь его помнят. Он был грозой местных хулиганов, скорее согласных отправиться в кутузку, нежели испробовать на себе силу воспитательного подзатыльника, нанесенного его сокрушающим кулаком. Так вот, Андрей приходил в рыбный ряд и поливал из лейки всю еще не проданную рыбу прокеросиненной водой.

— Делал ее непригодной? Почему?! — изумился я.

— В те времена ни льда, ни холодильников у торговцев не было. И во избежание пищевого отравления проводили такую вот профилактику.

— А заодно и поддерживали рыбный баланс в Севане.

— Так точно! — подтвердил профессор и перешел на другую тему.

Рассказал, как однажды ему довелось близко познакомиться со Звиадом Гамсахурдиа, впоследствии ставшим президентом Грузии.

— Мы жили с ним в номерах по соседству в московской гостинице Академии наук. Он тогда был еще только в ранге обычного научного работника. И я ему сделал, простите за каламбур, протекцию на изделия с протекторами... Помог с покрывками. Помните, каким они были дефицитом?

— Вы оказались в роли Фрунзика из кинофильма “Мимино”?

— Почти так! — рассмеялся Рудольф Григорьевич. — Звиад купил их у моих знакомых на деньги, взятые у меня взаймы. Обещал, что вышлет 150 рублей, как только приедет к себе домой.

— И что?

— Потом в его жизни произошли сложные перипетии... Трагические перемены... — помрачнел Рудольф Григорьевич и опять поменял тему разговора. — А вы знаете, у меня есть в Германии собственный земельный участок. Как вы думаете, какой?

— Наверно какой-нибудь виноградник в сельской местности? — высказал я первое, что пришло мне в голову.

— И вовсе нет. И не в селе, а в старинном горняцком городе Фрейберг.

— Тогда не знаю, что и сказать... — пожал я плечами.

— Это могила! — невозмутимо произнес профессор.

— Что-о-о?!..

— Приватизированная могила! — подтвердил профессор. — Вот послушайте. Думаю, история, которую я расскажу, заинтересует вас настолько, что вы поведаете ее читателям. Я рассказал ее нескольким здешним литераторам и журналистам, но никто не отреагировал. Судя по вашим публикациям, думаю, вы не отнесетесь к ней равнодушно.

Искренне признаю, было лестно услышать такую оценку. Но разрази меня гром, если пересказать эту историю я взялся из-за этого высказанного комплимента!

В 1969 году профессор Ереванского государственного университета Рудольф Григорьевич Геворкян проходил научную стажировку в немецком городке Фрейберг, в котором по сей день действует старейшая в Европе Горная академия. Полтора года командировки для тогда еще молодого ученого, обладающего широким кругом интересов, были насыщены событиями. Тогда он серьезно увлекался спортивным туризмом, альпинизмом... Разве это не признак истинного искателя в науке? Именно таким натурам фортуна преподносит радость интересных открытий!

Однажды вместе со своим сокурсником по академии, сирийцем из Алеппо Али Ибрагимом-пашой, ныне известным ученым, они оказались на местном кладбище. Проходя мимо могил, убранных с немецкой аккуратностью, среди старинных готических и иных надгробных надписей и эпитафий, Рудольф Григорьевич вдруг опешил от неожиданности. Мало того, что он увидел на одном из надгробий буквы Месропа Маштоца. Там была выбита его фамилия — Геворкян! И даты: 1900 — 1937. Имя усопшей было созвучно названию его родины — Айастан! Вот так сюрприз! Кто же был этот человек, ушедший из жизни в зловещем для нашей страны тридцать седьмом году?

Вечерело, и встретиться с директором кладбища Рудольфу Григорьевичу удалось только на следующий день. Тот, едва узнав, что фамилия посетителя Геворкян, обрадовался так, как если бы воскресла самая выдающаяся личность на вверенном ему объекте. Оказалось, что давно уже просрочена плата за опеку над этой могилой и, по действующим правилам, она подлежит амортизации. К глубокому сожалению кладбищенского директора, он был обязан со дня на день передать это место для захоронения кому-либо другому. Он рассказал, что усопшая была супругой Ганса Александра Винклера, внучатого племянника знаменитого немецкого ученого Клеменса Винклера. Даже из обычного энциклопедического словаря можно почерпнуть сведения о том, что Клеменс Винклер был выдающимся химиком. Открыл элемент экосилиций (он же германий), входящий в Периодическую систему элементов, и вел с Дмитрием Менделеевым активную переписку. Кроме того он разработал промышленный способ получения серной кислоты. Что касается Ганса Винклера, то он тоже не был заурядным человеком, и о нем будет сказано ниже.

Рудольф Григорьевич рассказал, что у него не хватило духу признаться директору, что он всего лишь однофамилец Айастан Геворкян, и он пообещал внести нужную сумму для приватизации ее последнего пристанища. Кое-как наскреб ее, внес в бухгалтерию кладбища, и директор незамедлительно оформил документ. Так что и по сей день могилка остается в прежней сохранности.

Но кто же такая Айастан Геворкян? Рудольф Григорьевич принялся выяснять подробности. Изучив кладбищенский гроссбух, обнаружил, что еще живы две родственницы Ганса Винклера — сестры Анна и Элизабет Балдауф. Одна из них проживала в ФРГ, и встретиться с ней было бы непростой задачей. Другая оказалась совершенно одряхлевшей сухонькой старушкой, которая только и сумела сообщить, что в городе Мейсен в Саксонии проживает еще один их родственник, также по имени Александр Винклер. Запрос по его адресу дал результат.

Пришло ответное письмо, датированное 18 ноября 1967 года. С немецкой скрупулезностью А.Винклер сообщил массу подробностей о своей родне. Написал, что Айастан Геворкян приходилась ему кузиной, точнее, была супругой его кузена, доктора Ганса. Точно указывались даты ее рождения и смерти. Далее он написал о своих родственниках. О том, что Ганс был, как мы уже знаем, внучатым племянником Клеменса Винклера. Его брат, художник Олаф Винклер, живший в Дрездене, был отцом Эрвина

Винклера — инженера-механика и преподавателя машиностроения в Политехническом техникуме Геттингена, и дедом Ганса Александра Винклера. Затем сообщалось, что автор письма видел Ганса в последний раз в мае 1942 года в Ливии. В чине майора он служил чрезвычайным посланником по арабским вопросам МИДа Германии в армии фельдмаршала Роммеля. “При встрече, — сообщалось в письме, — мы вспоминали всю нашу родню: бабушку фрау Брунк... Мой кузен Ганс родился 14.2 1906 года в Бремерхафене. Еще будучи абитуриентом он был призван на Первую мировую войну. Вернувшись домой, учился филологии и совсем еще молодым женился на армянке Айастан Геворкян, с которой жил очень счастливо. Доктор Ганс Винклер был ученым до мозга костей, полиглотом. Наряду с латинским, древнегреческим и древнееврейским, которым обучали в обычной гуманитарной гимназии, владел всеми основными европейскими языками. Но особенно был силен в восточных языках — арабском, иранском, армянском. Он несколько лет прожил в Иране, где нацисты назначили его генеральным консулом в Тавризе. Должность не слишком его вдохновляла, но он был вынужден согласиться, поскольку его финансовое положение было несоизмеримо с затратами на научные исследования и путешествия.

К сожалению, попав в плен после компании Эль-Аламейн в Египте, я потерял с Гансом всякий контакт. И уже значительно позже, в 1954 году, когда во Фрейберге отмечали пятидесятилетие со дня смерти Клеменса Винклера, я узнал о смерти Ганса. Он погиб в Польше в 1944 году при неизвестных обстоятельствах. От брака с Айастан Геворкян у него остались сын Айко Александр Винклер (род. в 1924 г.) и дочь Брунхильда Винклер (род. в 1931 г.). По некоторым сведениям, ныне они проживают в Канаде или в США. После мучительной болезни и смерти в Женеве супруги Айастан мой кузен сочетался вторым браком с Хедвик Эльшлегер. Лично о себе и своих обстоятельствах в Северной Африке могу сообщить немного, поскольку эта тема выпадает из общего контекста письма”.

По подписи автора письма Рудольф Григорьевич тотчас догадался, что они с ним коллеги. Об этом свидетельствовало прощальное приветствие послания — “Глюкауф”. Во всей Германии только саксонские горняки обмениваются друг с другом этим словечком, буквально означающим “до встречи на поверхности”, то есть на выходе из шахты.

Итак, кем же все-таки была Айастан Геворкян? При каких обстоятельствах она стала уважаемой невесткой почтенной германской фамилии? И после приезда на родину этот вопрос продолжал преследовать молодого ученого, и он делился предположениями со своими близкими.

Однажды, годы спустя, он рассказал эту историю своему коллеге, профессору Сурену Гогиняну. “Так ведь ей даже посвящен роман! Я сам его читал!” – воскликнул тот. Порывшись в памяти, стал сообщать подробности. Вспомнил, что книга переведена с русского языка на армянский. Ее автор – Аида Подколзина-Гюмреци, жившая в Москве. Так вот, из этого романа становится известно, что Айастан Геворкян была уроженкой Гюмри, дочерью тамошнего учителя Тадевоса Геворкяна, жителя села Даарли, с которым близко был знаком его земляк Аветик Исаакян. Сама Айастан воевала в войске Андраника. Попала в плен к туркам. Сбежала, пробралась на французский корабль и оказалась в Лионе. Там познакомилась с немцем – этнографом Гансом Винклером. Вскоре они поженились и переехали в Германию, где вступили в общество левого, социал-демократического толка “Спартак”. В 1934 году она написала антифашистскую книгу “В стране вишапов”, экземпляр которой подарила приехавшему туда Аветику Исаакяну. Вернувшись в Ереван, Ав. Исаакян передал ее в Национальную библиотеку Армении...

Однако при сопоставлении этой складной истории с письмом герра Александра Винклера невольно возникали некоторые сомнения и, мягко говоря, нестыковки. Трудно представить, что Ганс Винклер (с супругой Айастан Геворкян, автором антифашистского романа!), состоявший в обществе “Спартак”, во главе которого, как известно, стояли Карл Либкнехт, Роза Люксембург, Вильгельм Пик и другие знаменитые вожди немецких коммунистов, мог быть принят на службу в дипкорпус гитлеровского МИДа. И вряд ли такому сотруднику могли поручить вести дела в Северной Африке, в стане отборных эсесовских войск...

Далее. Поиски книги, будто бы доставленной Аветиком Исаакяном в Национальную библиотеку Армении, оказались безрезультатными. А когда мы обратились за справками в Дом-музей Варпета, там о ней не имели представления.

Возможно, кто-нибудь из наших читателей имеет на этот счет какие-либо сведения? В Национальной библиотеке Грузии есть пара книг издательства “Молодая гвардия”, написанных Подколзиной-Гюмреци, как указано в аннотации: “Для среднего школь-

ного возраста”. Это “Алые маки на серых скалах” и “Тайна дома Минаса”. Я ознакомился с ними. Они посвящены революции на Кавказе, гражданской войне и будням чекистов. Обе написаны в духе патриотического соцреализма, как известно, отображающего не то, что есть на самом деле, а что должно соответствовать общепринятым идеологическим нормам советского строя.

Однако не это главное. Так или иначе важно то, что эта причудливая история высветила для нас еще одну интересную страницу прошлого.

Мэри Чолакян ДРЕВНЕЙШИЕ УНИВЕРСИТЕТЫ

Армянские университеты, возраст которых насчитывает более 1500 лет, сыграли неocenимую роль в духовно-просветительском и культурно-образовательном становлении средневековой Армении.

С IV века одним из сильнейших армянских княжеств был Сюник, известный своей необыкновенной природой и замечательными историческими памятниками, одним из которых был Татевский монастырь. Начало его строительства восходит к IV веку, когда на высоком правом берегу реки Воротан, в месте, где она круто меняет направление и устремляется на восток, вбирая в себя правый приток реки Татев и образуя треугольный скальный мыс с крутыми обрывистыми склонами, была построена небольшая христианская церковь. В 848 г. князь Филипэ воздвиг рядом с ней новую церковь святого Григора Лусаворича.

Татевский монастырь, созданный здесь в 895 г., стал крупнейшим среди 48 монастырей Сюника и одним из влиятельных культурных центров Армении. В 896-906 гг. на его территории был возведен главный собор Сюникского княжества — церковь Погоса-Петроса. В 930 г. церковь была богато украшена фресками, дошедшие до нас остатки которых, вместе со знаменитым Эчмиадзинским Евангелием 989 г., служат неоспоримым доказательством славы, окружавшей в те далекие времена Татевскую школу миниатюры. А хранящийся ныне в музее первопрестольного Святого Эчмиадзина золотой оклад Татевского Евангелия, на котором изображены библейские сцены и портреты выдающихся ученых Ованеса Воротнеци и Григора Татеваци, — свидетельство высочайшего мастерства Татевской школы, как и двери

Татевского храма, представляющие собой уникальный образец резьбы по дереву (1253 и 1614 г., Государственный исторический музей Армении).

Настоящим чудом Татева был уникальный восьмигранный качающийся посох-столб (гавазан) девятиметровой высоты, воздвигнутый в 904 г. Под воздействием самых слабых сейсмических колебаний и даже от простого прикосновения человеческой руки он наклонялся и вновь возвращался в исходное положение, вызывая восторг, трепет и изумление в народе и наводя ужас на врагов. Перед лицом такого чуда, как рассказывает летописец Степанос Орбелян, сельджукские захватчики, намеревавшиеся поджечь церковь Григора Лусаворича, остановились в страхе и не посмели продолжать разбой.

С конца IX века при Татевском монастыре начал действовать университет, который достиг наивысшего расцвета в годы деятельности виднейших армянских ученых Ованеса Воротнеци и Григора Татеваци — в XIII-XIV вв.

Важную роль в защите северных границ Сюника в X-XI веках сыграл монастырь Воротан, находившийся на правобережной террасе ущелья одноименной реки, напротив села Вагуди. В 1315 г. здесь родился великий Ованес Воротнеци. С запада и востока монастырь окаймляли скалистые отроги гор, являясь как бы его естественными крепостными стенами. На скалах и сегодня видны остатки мощных стен, делавших святую обитель еще более неприступной. Сохранились и развалины церкви, построенной в 1500 г. в память об Ованесе Воротнеци, ибо он вынужден был уйти отсюда со своими учениками и два года скитался по родной стране.

Сюник потрясает своей необыкновенной природой, количеством и своеобразием замечательных исторических памятников и очагов культуры. Так, монастырь Амагу, или Нораванк, расположенный в юго-западной части Ехегнадзорского района, в труднодоступной теснине реки Гнишик, и существовавший еще с XII века, некогда был сердцем епархии и одним из очагов просвещения в Сюнике, оспаривавшим первенство даже у Татевского монастыря. В 70-е годы XII в. Сюник попал под иго турок-сельджуков, которое удалось сбросить лишь несколько десятилетий спустя.

В монастыре Нораванк протекала деятельность поэта, ученого-летописца, видного церковного и политического деятеля епископа Степаноса Орбеляна, представителя княжеской династии Орбелян. Здесь, в стенах монастыря, в 1299 г. он завершил свой капитальный труд «История области Сисакан». Свои патриотичес-

кие идеалы и устремления Степанос Орбелян выразил в “Плаче”, который призывал армян, “разбредшихся по миру, вернуться на Родину, чтобы опекать ее, как сын родной — престарелую мать”. Предметом особого внимания епископа были центры письменности Сюника. Для обеспечения их материальных нужд он не жалел средств из личных поместий и владений.

К северо-востоку от Ехегнадзора, в верховьях реки Гладзор, на склоне небольшого горного отрога еще до VIII века был основан монастырь Танаат, однако популярность к нему пришла после упокоения в нем мощей архиепископа Степаноса Сюнеци, известного ученого и переводчика. “Блаженный Степанос почитался за священные книги, привезенные им из Рима, и просвещение ими жителей своей страны”. Степанос Орбелян указывает, что “в 1279 году построили местные жители красивое куполообразное строение и в основании его поместили гроб святого”. Поэтому монастырь носит его имя — святого Степаноса.

О предметах, порядках и методике обучения в Татеве можно судить по памятным записям в рукописях, литературным произведениям и деятельности десятков школ, основанных в дальнейшем выпускниками университета. Автор жизнеописания Мхитара Саснеци рассказывает о порядке преподавания: “Учились путем вопрошений и ответов. Ибо при вопрошениях и ответах не только становится известным мудрое Слово Божие, но и укрепляется и соединяется Оно с разумом и душой, ибо где нет рассуждения, там нет и совершенного знания”.

Биограф выпускника Татевского университета Товмы Мецопеци — Киракос Банасер перечисляет различные науки и дисциплины, преподававшиеся в Татевском университете: “...Был он украшен всеми добродетелями и сведущ в теории и практике и науке, ибо овладел 12 частями философии, 7 книгами внешней философии, 72 книгами Ветхого и Нового Заветов, труднодостижимыми тонкими писаниями и сложными книгами православных и украшенных Божьей милостью святых вардапетов и 51 эпическим повествованием”. Эта программа, разработанная и принятая в высших школах средневековой Армении, существовала еще со времен Давида Анахта. Она включала в себя целую систему светских и духовных дисциплин. Студенты, независимо от узкой специальности, выбираемой в соответствии с личными наклонностями или талантом, — готовились ли они в переписчики или в художники, в музыканты или в проповедники, в богословы или в философы либо просто в вардапеты, обладающие правом преподавать, — все обязаны были в течение семи-восьми лет обучения

овладеть, помимо богословия, еще и “внешними”, то есть светскими науками и искусствами.

Таковых было семь: грамматика, риторика и логика составляли основу гуманитарного образования, а остальные четыре предмета — арифметика, теория музыки, геометрия и астрономия — составляли цикл точных наук. Ованес Воротнеци написал ряд работ сугубо логического характера, чем поднял преподавание этого предмета в возрожденном им Татевском университете на еще более высокий уровень. Он ввел в программу обучения труды западноевропейских авторов — сочинения по логике Жильбера Порретанского, Варфоломея Болонского и Петра Арагонского, переведенные в 1330-1340 годах Акопом Крнеци (Таргманом) при участии самих авторов.

“...Было в святом Татевском монастыре три отделения: на одном обучали музыке по канонам сладкозвучного пения, следуя древним певцам-вардапетам, и сюда приходили учиться со всей страны, а на другом учились живописному искусству и разным приемам рисования... А на третьем изучали науки внешние и внутренние”. По окончании учебного курса выпускнику университета присуждалась степень вардапета или посох.

В 1297 г. Сюникский митрополит завершил реконструкцию Татевского монастыря, который, как пишет Орбемян, развалился до самого основания. Строительно-реставрационные работы осуществляли главные архитекторы дома Орбемян — Сиранес и Молик.

Учебные центры Армении постоянно подвергались притеснениям со стороны кочевых племен: школа Вардана Аревелци — известного историка и книжника в Хор-Вирапе, монастырь Святых Апостолов в Муше, монастырь Танаат и др.

В 1282 г. в монастыре Ахберц, неподалеку от Танаата, ученый и педагог Нерсес Мшеци основал Гладзорский университет. Старейшее рукописное свидетельство о его местонахождении оставил Матеос Киликеци в памятной записи: “Пришел я в эту область, называемую Вайдзор, близ могилы Сюнеци, в монастырь Ахберц, достохвальные вторые Афины, к стопам отца нашего Нерсеса”.

Ректор Гладзорского университета Нерсес Мшеци, известный также как Нерсес Таронаци и Нерсес Гладзорацци (по месту рождения, названию области, откуда он родом, а также по имени основанного им университета), был преемником Вардана Аревелци, известного историка и книжника, главы школы в Хор-Вирапе. Нерсес Мшеци переместил школу из Хор-Вирапа в монастырь

Святых Апостолов в Муше. Однако обитель часто подвергалась притеснениям со стороны кочевых племен, испытывая на себе все беды и тяготы, которые претерпевали и другие учебные центры Армении, о чем красноречиво пишет миниатюрист Торос Таронаци: “Кто сможет рассказать, — мы не в состоянии поведать о бедствии и горе, о плаче и кровопролитии, о голоде и плене, об ужасе и о других всевозможных бедах, падших на нас в областях, в городах и весях и во всех окрестных местностях, когда неверное племя курдов перебило в нашей области множество христиан”.

После десяти лет самоотверженного труда Нерсес Мшеци был вынужден прекратить учебную деятельность в Таронском монастыре Святых Апостолов (1271-1281 гг.). Преследуемый кочевыми курдами, он оставил родную область и перебрался в Каджберуник, где, странствуя около года, не переставал заниматься наставнической деятельностью и просвещением духовных лиц и мирян: “И увидел область Каджберуник погрязшей в невежестве без учения и сильно побуждал черноризцев следовать Учению Священного Писания, и сам отправился в область Сюник, в святую обитель Гладзора, отвергнув предложения братии Мецопского монастыря обосноваться у них”.

Понимая, что для существования школы прежде всего необходимы спокойствие и безопасность, Нерсес Мшеци выбирает Сюник. В то время Армения стонала под жестоким игом новых завоевателей. Освободившись от турок-сельджуков, страна подпала под иго монголов. Феодалные князья Сюника — Орбеляны и Прошяны, находясь в вассальной зависимости от них, получили привилегию внутренней автономии, вследствие чего область до некоторой степени оставалась в стороне от нашествий и грабежей.

Непосредственными хозяевами монастыря Ахберц были Прошяны, хозяевами Сюника в целом — князья Орбеляны, а духовным владыкой был митрополит Сюника. Они и покровительствовали Гладзорскому университету, решая вопросы строительства и удовлетворяя его материальные и духовные потребности.

Ректор Нерсес Мшеци отбирал учеников и заботился об их нуждах, обогащал учебные программы, умножая необходимые пособия из разных книгохранилищ, продвигая дело обучения и просвещения. Он создал для Гладзорского университета все условия: разместил в надежном месте, обеспечил покровительство, подготовил учебники и рукоположил Есаи Ничеци вардапетом, назначив его своим преемником. Умер Нерсес Мшеци 6 февраля

1284 г. и был погребен в Гладзоре. Ему принадлежит непреходящая слава основателя этого университета.

Благодаря энергичным действиям нового ректора Есаи Ничеци Гладзорский университет становится крупным центром науки и просвещения и как магнит притягивает жаждущую образования и знаний молодежь, приобретая значение всеармянского университета. В памятной записи учителя грамматики Ованеса, создавшего свой труд в 1291 г., говорится: “Написано “Толкование посланий апостолов” в обители, называемой Ахберц, по прозванию Гладзор, под сенью святого Степаноса, в учительство ученого и плодотворного великого ритора Есаи”. Есаи Ничеци подготовил учебное пособие “Златочрев”, с помощью которого можно было многому и с легкостью научить студентов. Сборник содержит более 250 текстов, в основном комментарии к различным сочинениям — так называемые “причины”. Наряду с богословскими здесь изложены “причины” философских, художественных, мифологических, математических книг, а сами произведения или их толкования приводятся в той степени, в какой это необходимо учащемуся.

Грамматика и риторика подготавливали студентов к овладению третьей ступенью тривиума — логикой, или диалектикой, которая, в свою очередь, подводила учащегося к философии. Есаи Ничеци оценивал роль грамматики в системе образования так: “Она есть врата во всякое знание и учение, и следовало посредством грамматики, как по лестнице, всходить к совершенной мудрости”.

Усвоив науки тривиума, студенты получали разрешение приступить к изучению трудов философского характера, которые давали знания теоретической и практической философии. Теоретическая философия, в свою очередь, подразделялась на три области — естествознание, математику и теологию. Получив необходимые знания по естественным наукам, студент должен был переходить к изучению наук математических, чтобы получить право заниматься самой сложной частью философии — метафизикой, что давало возможность после изучения материального мира постепенно перейти к изучению нематериальных сущностей. В свое время Давид Анахт в “Определениях философии” писал: “Ибо следует от естествознания подняться к математике, а оттуда к теологии”.

После всего этого студенту, имеющему необходимые философские и богословские познания, позволялось перейти к практической философии, которая также состояла из трех частей — этики, экономики и политики.

Выпускник сдавал экзамен по пройденному курсу. Кроме того ему надлежало написать исследование по какому-либо произведению и произнести на эту тему выпускную речь перед комиссией, в которую входили преподаватели и выпускники университета, представители духовенства и княжеских домов. По окончании учебного цикла выпускнику университета присуждалась степень вардапета или посох. Есаи Ничеци “удостоил вардапетского звания 360 выпускников Гладзорского университета. В их число не входят воспитанники, получившие сан священников или ставшие просто церковнослужителями, посвятившими себя церковной деятельности, а не науке”.

Среди выпускников Гладзорского университета числятся такие выдающиеся представители армянской науки и культуры, как мастер книжной живописи Торос Таронаци, переписчик, художник, архитектор и скульптор Момик, философ и миниатюрист Погос Киликеци, поэт, философ, грамматик, астроном, автор песен и проповедник Ованес Ерзынкаци и многие другие талантливые ученые и педагоги, чья сила и влияние были ощутимы в армянской культуре вплоть до второй половины XV века.

Армянский средневековый университет, которому было суждено пройти через века, кочевал, находя пристанище в разных монастырях, сохраняя и обогащая традиции в области просвещения и науки, а также в общественно-политической деятельности.

Университет Нерсеса Мшеци и Есаи Ничеци, впитав традиции учебных центров Восточной Армении, школ Григора Магистроса, Ованеса Саркавага и других очагов просвещения V-XII веков, внес огромный вклад в развитие средневековой армянской культуры.

Около 60 лет просуществовал знаменитый Гладзорский университет. После смерти Есаи Ничеци в 1338 г. учебно-образовательная деятельность и научная работа продолжалась в Татевском монастыре под руководством Тиратура Киликеци, знаменитых ученых-наставников Ованеса Воротнеци и Григора Татеваци.

Тиратур Киликеци был одним из первых воспитанников Гладзора, где прилежно копировал “Нарек” и переписывал Евангелия. В 1337 г. он упоминается уже как главный наставник университета. В следующем году Тиратур Киликеци переселил университет в Гермонский монастырь, ибо в это время многие княжеские дома, в том числе Прошяны, которые всячески поддер-

живали этот центр науки и просвещения, подверглись преследованиям и разорению со стороны монголов. Гермонский же монастырь находился во владениях Орбелянов, и дело обучения и образования можно было здесь продолжать с относительной стабильностью.

Выдающимся воспитанником Гермонского университета был Ованес Воротнеци, именуемый Кахиком. Есаи Ничеци посвятил его в сан священника, а при Тиратуре Киликеци он получил степень вардапета. “Светлейший вардапет наш Тиратур сиял в свое время, как солнце среди звезд”, — вспоминал впоследствии Ованес Воротнеци. В 1356 г. он уже сам стал главным наставником университета и “30 лет занимался преподаванием, просвещая Восточный край”. Университет Ованеса Воротнеци функционировал в Татеве и Воротнаванке до 1384 г.

Постоянные вторжения, набеги и грабежи вынуждали главных наставников университета искать для него новое, безопасное место... В 1384 г. “турки захватили Воротн, а вардапет Кахик бежал в Цару и увел нас в Ерынджакский монастырь... У святого, светлейшего и благодетельного наставника армянского, владыки Ованеса Воротнеци в его университете мы были погружены в занятия, когда пришли захватчики и взяли крепость Воротн, и хотели взять в плен святого нашего наставника, ибо был он наследником крепости”. Два года университет скитался по родной стране...

В 1386 г. Ованес Воротнеци умирает, назначив ректором университета Григора Татеваци. Один из наставников Татевского университета — Маттеос Джугаеци пишет: “Великий философ армянский Ованес Воротнеци перед смертью повелел Григору Татеваци стать во главе великого Университета Есаи Ничеци и продолжать его дело как главный наставник Великой Армении”. Ученики Ованеса Воротнеци разъехались в родные области-гавары и основали десятки новых школ в Капосе, Сагмосаванке, Мецопаванке, Харабасте и т.д.

Григор Татеваци в монастырях Апракуниса, Шаапонка, а затем и вновь Татева продолжал развивать энергичную учебно-педагогическую, общественно-политическую и литературную деятельность. Он был не только известным философом, но и живописцем. Его портрет, один из редких в армянской книжной живописи, сохранился на миниатюре 1449 г. в “Толковании псалмов Давида”.

В конце XIV века Григор Татеваци выполнил несколько миниатюр для Евангелия 1297 г. Но Армения снова стала ареной кро-

вопролитных войн и за короткий срок дважды подверглась страшному разгрому в результате опустошительных набегов хана Тохтамыша и Тамерлана. Григору Татеваци не раз приходилось спасаться от орд захватчиков, прятать рукописи в горных тайниках, читать лекции ученикам в пути и после ухода захватчиков возвращаться к разоренному очагу.

В 1408 г. он основал в Мецопском монастыре высшую школу “грамматического и каллиграфического искусства”. В 1409 г. в Пустыни апостола Анании получили степень вардапета десять учеников Григора Татеваци из Каджберуника. Они и были последними выпускниками Татевского университета. Григор Татеваци умер в 1409 г. Его похоронили в южном приделе церкви Погоса-Петроса при Татевском монастыре.

На протяжении полутора тысяч лет древние армянские университеты несли в себе непреходящую славу и величие тех, кто беззаветно служил делу просвещения народа и из глубины времен передал нам Свет Знания, которому не давали погаснуть в Армении в самые жестокие и страшные времена...

**Гурген Карапетян
АРМЯНИН, ВЗОШЕДШИЙ НА АТОМНЫЙ ОЛИМП**

Предвижу первую реакцию многих читателей: “Чушь собачья! Ну сколько можно! Нельзя же всех выдающихся людей превращать в армян! Так можно черт знает до чего договориться! Вы бы еще Курчатова вырядили в армянина”.

Я терпеливо подожду, пока эта первая и — как это нередко бывает — импульсивная и неадекватная реакция выкипит и уляжется, и продолжу свой рассказ.

После испытаний первой водородной бомбы 12 августа 1953 г. возникла идея создать научно-исследовательский институт, второй оружейный центр. Понятно, что это был засекреченный объект, обычным советским гражданам знать о нем не полагалось. По предложению И.Курчатова научным руководителем и главным конструктором нового института был назначен Кирилл Иванович Щёлкин. Теперь уже это имя у многих на слуху, но тогда о нем, при всех его регалиях и высоких правительственных наградах, знали только узкие специалисты, оружейники-атомщики. Типичный парадокс, характерная примета советской формации: Кирилл Щёлкин находился в одной “обойме” с Юрием Харитоновым, Игорем Курчатовым, Яковом Зельдовичем, Андреем Сахаровым, вместе с ними получал Сталинские премии и золотые звезды Героя Социалистического Труда и при этом оставался неизвестным. Человек-легенда. Законспирированный руководитель и организатор оборонной промышленности, создатель секретного атомного оружия величайшей державы мира.

Так был создан НИИ-1011, объект без названия, с закрытым почтовым ящиком. Сегодня он рассекречен и известен как Российский Федеральный ядерный центр — ВНИИ технической физики. Трудное, долгое восхождение на атомный Олимп состоялось. К тому времени Кирилл Щёлкин занимал должность перво-

го заместителя Главного конструктора и руководителя создания атомного оружия Юрия Харитона. По признанию “апостолов” атомного дела, Щёлкин тогда был практически единственным в Советском Союзе человеком, который знал абсолютно все о внутренних механизмах, об “анатомии” взрыва.

Был доктором наук, автором большого числа важнейших исследований, имевших неоценимое прикладное и теоретическое значение. В своей докторской диссертации, блестяще защищенной в 1946 г., он обосновал и выдвинул теорию возникновения детонации. Работа так и называлась: “Быстрое сгорание и газовая детонация”. Это его исследование открыло путь для создания мощных реактивных и ракетных двигателей. Без результатов его работы, по убеждению коллег ученого, разработки ядерного оружия были бы просто невозможны. Забегая вперед, скажу, что на протяжении долгих лет Щёлкин оставался выдающимся ученым, на труды которого нельзя было ссылаться. Теория существовала, у этой теории был автор, у автора было имя, причем довольно известное в мире ученых-атомщиков, но ссылаться на это имя было нельзя...

Перед молодым ученым открываются блестящие перспективы, ему предлагают интересные должности, делают заманчивые предложения, но он предпочитает сотрудничать с Курчатовым, который был очень высокого мнения о Кирилле Щёлкине.

В 1947-1948 гг. К.Щёлкин руководил широкой научно-исследовательской областью. В советской стране был введен в строй первый в Европе атомный реактор. Возглавляемый Щёлкиным коллектив приступил к проектированию и созданию атомной бомбы. К работе были привлечены видные ученые того времени – Мстислав Келдыш, Артем Алиханян, Юрий Зельдович, Самвел Кочарянц, другие специалисты. Общее руководство работой было возложено на Игоря Курчатова.

Примечательно, что когда Щёлкин 29 августа 1949 г. доложил Курчатову, что атомная бомба заряжена и готова к испытаниям, Курчатов заявил: “Что ж, у бомбы имя уже есть, пусть же будет и крестный отец – Щёлкин”.

После успешного испытания бомбы двадцать восемь ученых были удостоены высоких государственных наград, а Курчатов, Харитон и Щёлкин стали Героями Социалистического Труда. Тогда же Сталин, поздравляя атомщиков, произнес сакраментальную фразу: “Если бы мы опоздали с созданием атомной бомбы на год или полтора, она была бы испытана на нас”.

Еще через два года Щёлкин второй раз удостоился звания Героя Социалистического Труда — на этот раз за создание новой авиабомбы для вооружения военно-воздушных сил страны. Позднее ему была вручена Ленинская премия — высшая премия страны.

В пятидесятые годы, когда международная напряженность достигла своего апогея и возникла реальная угроза столкновения мировых держав, началось сотрудничество Кирилла Щёлкина и Сергея Королева по созданию ракетно-ядерного оружия, способного достичь территории Соединенных Штатов Америки. Атомщик Щёлкин, проявив исключительную принципиальность и бескомпромиссность, настоял, чтобы ракетчик Королев переделал одноканальные ракеты и привел их в соответствие с двухканальной водородной боеголовкой. И ракеты стали летать значительно точнее и надежнее.

Затем стали происходить какие-то очень странные, из ряда вон выходящие события. Один из самых выдающихся ученых XX столетия Кирилл Иванович Щёлкин вдруг избирается не действительным членом, а всего лишь членом-корреспондентом союзной Академии наук. И опять же забегая вперед, скажем: ему так и не суждено было стать действительным членом Академии наук, “полным” академиком. Чуткая партия и не менее чуткое правительство, державшие нос по ветру, позаботились об этом.

Напомню: в те годы ничто не происходило случайно. Ни над кем тучи просто так не сгущались. Во всем была своя закономерность. Ни за что в опалу попадали многие, сплошь и рядом. Но ни за что еще не означает просто так.

Еще некоторое время спустя К. Щёлкин совершенно неожиданно покидает Уральский ядерный центр, свое любимое детище. Дальше больше. Руководство страны начинает с иезуитской методичностью “забывать” о его юбилеях. Кольцо вокруг первого атомщика страны, практически единственного человека, которому доверялось испытание первой и всех остальных атомных бомб, начинает сужаться.

А в сентябре 1960 г. Кирилл Щёлкин освобождается от всех занимаемых должностей, отлучается от “Атомного проекта”. Уходит по собственному желанию. “По состоянию здоровья”. Такова официальная версия, которой тогда никому в голову бы не пришло не поверить. Нестыковка в ней, причем довольно явная, заключалась в том, что Щёлкина лишили доступа к информации в этой области. Более того, ему запретили даже посещать ядерные центры, те самые, в которых он проработал чуть ли не всю

свою сознательную жизнь. Без веских на то причин со специалистами столь высокого ранга так не поступают.

Это было по крайней мере странно. И, что хуже всего, что подобные странности продолжались. Последней странностью можно считать то, что уже после смерти Кирилла Ивановича Щёлкина пришли какие-то люди и, не вдаваясь в объяснения, забрали у семьи все его правительственные награды, лауреатские знаки отличия, даже звезды Героя Соцтруда. Все три звезды. Заметим в этой связи, что такого пристального внимания и “заботы” со стороны верховной партократии удостоивались только те, кто сами того не подозревая наступали на “большую мозоль” Системы.

Почему? Что случилось? Чем выдающийся ученый не потрафил советской партократии? С очень большой степенью вероятности можно утверждать, что Кирилл Щёлкин нажил себе могущественных врагов тем, что вместе с академиком Андреем Сахаровым и другими создателями сверхмощного оружия выступил против “ядерного безумия”.

Напомню, что это были годы высочайшего накала “холодной войны”, когда от любой неосторожной искры могла вспыхнуть третья мировая война. В Советском Союзе велась интенсивная работа над 100-мегатонным зарядом, по мощности в несколько тысяч раз превосходящим бомбу, сброшенную на Хиросиму. Его появление поставило планету на грань атомной катастрофы во время Карибского кризиса. И только один из создателей советского ядерного оружия Кирилл Иванович Щёлкин осмелился утверждать, что в оборонных целях достаточно иметь небольшие ядерные заряды.

Создатель атомного монстра восстал против своего же чудовищного создания, выступил против испытания мощных и сверхмощных ядерных зарядов.

Сын ученого Феликс Щёлкин, написавший об отце книгу воспоминаний и озаглавивший ее “Апостолы атомного века”, констатирует: “Я никогда не слышал от отца никаких претензий к разработчикам реактивных и ракетных двигателей, которые, пользуясь результатами его научных исследований, очень редко делали ссылки на его работы. Только однажды, уже в начале 60-х годов, был такой эпизод. Целый день отец сосредоточенно о чем-то размышлял, прогуливаясь, не садясь за письменный стол, что было необычно. Наконец он обратился ко мне: *“Сделал исключительно красивую работу. Знаю, она очень нужна разработчикам ракетных двигателей. Они никогда до этого не додумаются. Рука не поднимается публиковать ее. Опять используют и не сошлут-*

ся на автора”. Это был единственный случай, когда прорвалась, видимо, накопившаяся за многие годы обида...”.

Но вернемся к армянскому происхождению Кирилла Ивановича Щёлкина. Я перечитал несколько десятков более или менее подробных биографий ученого-атомщика, но ни в одной из них даже вскользь не упоминается о его армянском происхождении. Верю, что многие его биографы просто не подозревали об этом. Но столь же вероятно и то, что некоторые из них знали и сознательно обходили стороной эту тему.

Да, до недавнего времени эта информация была “большим-большим секретом”, хранилась за семью печатями. Безусловно, о том, что Щёлкин — армянин, знали в высших эшелонах власти. Достаточно сказать, что работы по созданию атомной бомбы проводились под общим патронажем Лаврентия Берии, а уж он-то знал все обо всех. И смею высказать свое убеждение, что если бы Щёлкин не был настолько нужен в команде атомщиков, его судьба сложилась бы совершенно иначе.

И только в постсоветскую эпоху, в брошюре “Страницы истории ядерного центра”, изданной в 1998 г., были названы подлинное имя и фамилия Кирилла Ивановича Щёлкина — **Киракос Ованесович Метаксян**. Затем следуют публикации в армянской республиканской прессе, а также в армянских газетах Ливана и США. Но, несмотря на это, даже сегодня об этом знают очень немногие.

Григор Мартиросян в своей честной попытке заинтриговать читателя озаглавил свою книгу подчеркнуто броско: “Щёлкин Кирилл Иванович. Метаксян Киракос Ованеси. Трижды Герой, оставшийся засекреченным. Армянин, которого не знает народ”.

В Национальном архиве РА хранятся документальные материалы о родителях Киракоса Метаксяна, о нем самом и о его сестре Ирине, однозначно подтверждающие армянское происхождение выдающегося советского ученого-атомщика. Из них мы узнаем, что Киракос Метаксян родился 17 мая 1911 г. в Тифлисе, в семье землемера Ованеса Епремовича Метаксяна. В 1918 г. Ованес Метаксян (переименованный в Ивана Ефимовича Щёлкина) вместе с семьей переехал в город Красный Смоленской области. Там жизнь армянской семьи радикально изменилась, началась с “чистого листа”. Годы стали писать новую, “русскую” биографию Кирилла Ивановича Щёлкина.

Конечно же, что бы мы ни говорили, Кирилл Щёлкин принадлежит российской истории, российской действительности. Точно

так же, как российской истории и российской действительности принадлежат другие великие армяне — Александр Суворов, Иван Айвазовский, адмирал Лазарь Серебряков (Казар Арцатагорцян), адмирал Иван Исаков, маршал авиации Сергей Худяков (Ханферянц), многие-многие другие.

Нам же остается неотъемлемое право гордиться тем, что все эти замечательные, действительно выдающиеся люди — наши соотечественники, тем, что в их жилах текла армянская кровь.

КРИТИКА, ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЕ

Вардан Казарян
ПРЕЖДЕ ВСЕГО – ЧИСТЫЙ ВОЗДУХ
Публицистика Анаит Саинян

В нередких сравнениях так называемой “большой” литературы с публицистикой последнюю обычно склонны рассматривать как явление в каком-то смысле временное или, по крайней, временно́е по сравнению с “вечностью” первой. Однако так ли это, если речь идёт о мастерах пера?

Об Анаит Саинян — одном из выдающихся армянских писателей нашего времени, авторе многочисленных романов, новелл и рассказов, написано достаточно много. Однако она из немногих армянских прозаиков, в творчестве которых публицистика занимает такое большое место, что по значимости может быть приравнена к ее основному роду деятельности. Естественно, публицистика писателя-романиста имеет свои специфические черты, отличающие ее от профессиональной журналистики в узком смысле этого понятия.

Главное, что отличает публицистику А.Саинян — неравнодушность и активная гражданская позиция. Всеми доступными средствами (в данном случае — словом) автор борется за свободное, логичное и независимое развитие государства на всех новых и новейших этапах его истории. Историчность — одна из особенностей публицистики А.Саинян: если расположить ее статьи в хронологическом порядке, то даже малознакомый с особенностями истории нашей страны человек сможет составить достаточно целостное представление об основных вехах ее развития в течение долгого и весьма непростого времени — второй половины XX-начала XXI веков, падениях и взлетах. Смена веков

(а то и тысячелетий), переход от союзной республики к статусу независимого государства — все эти глобальные изменения, начиная с эпохи, когда с каждым днем, как говаривал “отец народов”, “жить становилось лучше, жить становилось веселее”, до не столь веселых перипетий наших дней — все это отражено в статьях и очерках А.Саинян посредством, казалось бы, незначительных, подчас почти бытовых тем.

Принципиальность подхода, актуальность и злободневность тем, искренность и эмоциональность автора прочитываются в публицистике А.Саинян вне зависимости от времени, когда была написана та или иная статья, и советских цензурных ограничений.

Профессиональной публицистической деятельностью в полной мере Анаит Саинян занялась после окончания университета, печатаясь в газетах и журналах. Однако ее журналистская деятельность приобрела определенную организационную направленность лишь в 1969 году, когда она возглавила детские журналы “Пионер” и “Цицернак”, главным редактором которых была в течение почти 20-ти лет.

В своих романах — таких как “Наслаждение”, “Перепутья”, “Жажда”, “Тоска” и других, А.Саинян затрагивала важные общественно-моральные проблемы на фоне по большей части современных ей драматических событий истории страны и переплетений человеческих судеб. Вопросы и проблемы, поднятые ею в романах, не очень отличаются своей актуальностью для данного отрезка жизни от поднятых в чисто публицистических работах. Как истинно ценные произведения они не теряют своей актуальности и поныне.

ПУБЛИЦИСТИКА СОВЕТСКОГО ПЕРИОДА

Публицистику Анаит Саинян можно разделить по темам, которые наиболее часто встречаются в её статьях: в основном это вопросы экологии и охраны природы, экономика в пределах интересов и представлений обычного гражданина, общественно-моральные проблемы, профессиональные цели, задачи и этика, молодёжные вопросы, роль и задачи интеллигенции в обществе и т.д.

О том, как её привлекла публицистика, А.Саинян пишет в первой книге своих воспоминаний: после тяжёлых испытаний, связанных с изданием её первого романа “Перепутья”, она решила отложить на время написание нового, но бездействовать не мог-

ла, и собирая свой новый писательский “материал”, много ездила по Армении, заезжала в колхозы, проводила время с его работниками на полях, проникала в жизнь заводских рабочих, спускалась в угольные шахты и т.д. Затем более двух лет жила на Севане жизнью севанцев, была очевидцем и наблюдателем их тяжёлой, полной опасности работы и всё то, что она увидела и пережила в эти годы, вылилось в написание целого ряда очерков. Так было положено начало публицистической деятельности писателя Анаит Саинян.

К вопросам профессии журналиста Анаит Саинян обращается в своих первых публицистических работах (1950-е годы). Они опубликованы в журнале “Советакан граканутюн”. Одна из самых первых статей рассказывает о её опыте на поприще написания заказной по понятиям того времени статьи. В статье “Очерк про очерк” она рассказала, как по заданию редакции поехала в колхоз-герой, о котором должна была написать “художественный очерк”. Но вместо того, чтобы придти от имени редакции, она зашла к директору колхоза в качестве независимого корреспондента. И невольно увидела “оборотную сторону медали”. Попросту говоря, к ней отнеслись предельно формально: не отрывая взгляда от лежащих на столе бумаг отослали за информацией о ничего не говорящих цифрах. Первоначальная статья, таким образом, была направлена на изображение равнодушия принявших её чиновников, но ощущение несправедности происходящего усилилось, когда в редакции ей “объяснили”, что “художественный очерк” в этих циферках и состоит, поскольку таковы были понятия о художественности в то время: данные о колхозе и парочка зарисовок природы. Такого выдержать она не сумела, и появился очерк, отражающий всю эту эпопею и отношение автора к ней (а в советское время для этого нужна была решимость).

С 1956-го года в статьях А.Саинян нередко появляется тема коррумпированных чиновников. Поехав в очередной колхоз с заданием расхвалить известную своими реальными или мнимыми достижениями директрису, А.Саинян столкнулась с совершенно другой картиной — директриса вовсю унижала своих подчинённых, пользуясь своей почти неограниченной властью. Очерк получился очень оригинальным, разделённым на две равноправные части — требуемая похвальба (впрочем, заслуженная) и не

очень привлекательный человеческий облик “командирши”. Комментариев автор не сделала, оставив выводы читателю .

С 1956 года А.Саинян часто публикуется в “Литературной газете” (“Гракан терт”), издав ряд статей о жизни рабочих, колхозников, служащих. Как ни странно, читая статьи того времени, и сейчас не можешь не согласиться с ее позицией. Эти статьи остались так же актуальны, как и были тогда. Коррупция была и есть, неучи и некультурные люди также неизменно сопровождают нашу жизнь. А.Саинян всегда отличалась собственным стилем и предельно возможной по тем временам решительностью. После вышеупомянутой неудачной правки своей статьи она раз и навсегда отказалась следовать установленным правилам. Целый ряд её статей был посвящен тому, что есть правильный очерк, а что нет.

Один из жанров, нашедших прочное место в творчестве А.Саинян — путевые заметки. Из поездок Анаит Саинян привозила целый багаж всевозможных очерков и статей. Судя по ним, если у А.Саинян и есть любимая страна, кроме своей родины, то это, несомненно, Финляндия.

Страна европейская, и А.Саинян удивлялась спокойствию и благоденствию её жителей, самой системе. А с нынешних позиций уже известно, что демократия в качестве общественного механизма жизни реально существует именно в странах Скандинавии.

Большое количество “писем путешественника” А.Саинян посвящено темам гуманистическим — точнее тому, чего так не хватало в СССР. Это и составляло основу большинства очерков, в частности, уже упомянутых из Финляндии: до боли нам всем знакомые сравнения, как “тут” и как “там”.

Примечательно, что ко многим вопросам советской действительности Анаит Саинян вернулась уже в перестроечные годы, когда стало дозволено писать о том, что было “за семью замками” грозной советской цензуры. Первой в этой тематике можно назвать статью 1988 года*. Основой очерка послужила зловещая мифология, которой долгие годы была окутана деятельность структур Госбезопасности и даже само здание КГБ в центре Еревана, мимо которого проходило за день множество людей.

* А.Саинян, *История одного колхоза* (на арм. яз.), “Гракан терт”, 26 января 1962 г.

** А.Саинян. *Этот проклятый страх* (на арм. яз.), “Гракан терт”, 11 ноября 1988 г.

Очень многие в советские времена попадали туда и не возвращались. Особенно жестко это на себе чувствовали творческие люди, интеллигенция.

Когда умер Сталин, Армения замерла в ожидании. Люди знали, что если к власти придет Берия, армянам будет даже хуже, чем при Сталине. Но, как ни парадоксально, были и такие, что, казалось, скорбели об ушедшем вожде. А если точнее, людей пугали неизвестность и непривычка жить без идола. Потом пришла новость, поначалу неофициальная: Берию арестовали. Вскоре объявили по радио. Но, как замечает автор статьи, страх перед зданием не проходил. Вроде поутих, но окончательно так и не прошел. Вывод автора очевиден: многолетняя привычка, приобретённая за годы полного бесправия и гнетущего страха не может так скоро исчезнуть. След ещё долго остаётся в душе общества.

Говоря о потерях — экономических, культурных, нравственных, духовных, которые приносят народу и стране отсутствие демократии и свободы слова, А.Саинян подчёркивает, какую роль в этом сыграли многие годы репрессий — насильственная коллективизация, депортация и ссылки, 1937 год и т.д. (статья “Страх”). Естественно, всё это не могло не привести к определённой деморализации общества, и как следствие — к потере чувства собственного достоинства отдельных его членов. А отсутствие этого чувства может породить в тех же людях захватническое начало, такую своеобразную “удаль”, и тогда они реально опасны для общества. Писатель говорит — знайте, чем гордиться, и чего стесняться, умейте быть и оставаться людьми в любых обстоятельствах — не лгите, не ловчите, не притворяйтесь. Перо А.Саинян-публициста не упускает мелочей, особенно остро реагируя на всё, что может унижить человеческое достоинство. На примере знакомых ей фактов в родной писательской среде она обвиняет в совершившихся несправедливостях не только вышестоящее начальство, но и самых “простых” писателей, людей, граждан. Казалось бы, что они могли сделать тогда — в условиях советского тоталитарного конформизма и непререкаемости власти? Не стоять в стороне, не “хлопать глазами”, — призывает писатель. Быть независимыми, не следить неустанно за выражением глаз или указующими начальственными жестами “хозяев”. Сказанное может быть отнесено не только к тогдашним временам (1985), но и к любым — разве сегодня мало таких, которые боятся слово сказать в защиту пусть не другого — хотя бы себя?

Многие темы, затронутые А.Саинян в ее публицистических очерках и статьях остаются злободневными и сейчас, обретая незавидное долголетие в нашей жизни. В первую очередь это относится к экологии. В статье “Прежде всего – атмосфера” мы видим озабоченность автора состоянием, в которое приведены наши природные ресурсы – земля, вода. Прежде чем перейти к Армении, она ссылается на выступления видных российских писателей, озабоченных аналогичными проблемами – Бакланова, Шолохова, Белова, Залыгина и других. На фоне их выступлений представляет автор одну из насущных проблем Армении – состояние озера Севан, которое расчёты учёных привели к обмелению и экологической катастрофе. Она приводит эпитеты, которыми “награждали” писателей за озабоченность положением Севана – “эстетствующие мещане”, люди, заботящиеся о красоте озера вместо того, чтобы радоваться грядущему превращению республики в “индустриальную сверхдержаву”. Размышления автора актуальны и сегодня, ибо живуче желание власть имущих строить грандиозные планы за счёт природы и экологии. Говоря о Севане, как о живом, одновременно почти мифологическом существе, она предсказывает, что подняв руку на него, мы лишим Севан его вечной сущности, превратив в простого смертного, который может умереть. А к каким последствиям это приведёт в масштабах республики, ясно и непосвящённому. Статья, поднимающая конкретные вопросы непреходящей важности, кончается призывом: “Значит, прежде всего – атмосфера ... очищающаяся атмосфера, т.е. чистый воздух, много кислорода”, что может быть понято двояко – чистая атмосфера во всём, не только в природе, но и в обществе, во власти, в человеческих взаимоотношениях.

В другой своей статье на ту же тему (“Почему мы молчим?”, 1987) А.Саинян пишет о Ереване, который душит чрезмерная урбанизация и отсутствие заботливой, разумной политики городских властей. “Уже много лет говорится о том, что один из самых загрязнённых в смысле воздуха городов – наша столица, где сосредоточено более трети населения республики... Кто из нас не ощущает время от времени жжения в глазах, что есть не что иное, как воздействие вредных газов – выбросов химических заводов, кто не чувствует время от времени в воздухе тошнотворный запах, который также является “подарком” тех же химических выбросов? – пишет А.Саинян, и у нас невольно напрашивается сравнение с сегодняшним днём, когда большая часть

зелёных насаждений города уже исчезла, и даже отсутствие ядовитых выбросов от ныне бездействующих заводов не спасает горожан от удушливости атмосферы городских улиц и площадей.

В публицистике Анаит Саинян советского периода много места уделяется вопросам Спюрка — армянской диаспоры. Она часто встречалась с армянами в разных странах, и это в полной мере отражено в её статьях и очерках. Основная направленность этих статей — не просто представить зарубежное армянство, их достижения на чужбине и проблемы, но и сделать из этого выводы — как для них, так и для живущих на родине армян.

Много пишет А.Саинян о своих встречах с общественными деятелями Спюрка. В частности, интересны её впечатления об известной деятельнице диаспоры, нынешней — после отца — руководительнице Всеармянского благотворительного фонда Луиз Симон-Манукян. Тут снова вступает в силу мастерство Анаит Саинян — прозаика, замечаящего любую мелочь: простая одежда, звонкий смех, умение общаться, никого не подавляя и не поддаваясь чуждому влиянию. Так, простыми средствами, создаётся яркий, запоминающийся образ известного деятеля.

Таким образом, статьи Анаит Саинян советского периода отличаются принципиальностью и остротой, особенно редкой в те годы тотальной цензуры. Иногда прямо, иногда иносказаниями, иногда при помощи ярких художественных образов А.Саинян направляет своё перо публициста против тех явлений, которые, будучи болезненно актуальными тогда, почти во всех случаях остаются таковыми и в наши дни.

И ещё одна важная особенность статей и очерков Саинян тех лет: при всей остроте и злободневности — очевидная их историчность. Мы многое узнаём по ним не только об Армянской ССР, но и, в определённой мере, о стране, которая занимала одну шестую часть суши — СССР. У кого-то они могут даже вызвать ностальгию по прошедшему времени, а кому-то послужить уроком...

ПУБЛИЦИСТИКА ПОСТСОВЕТСКОГО ВРЕМЕНИ

О том, что для любых необходимых изменений в стране необходимы усилия её граждан, А.Саинян писала всегда. Она призывала к этому, взывала к равнодушию, достоинству, честности, порядочности и даже смелости. «Привычно было со всей энергией впрягаться в решение злободневных задач. А эти задачи

ставились *сверху*. Им (имеются в виду члены общества. — В.К.) оставалось только с блеском выполнять указанное. Сегодня они сами должны ставить перед собой задачи, сами же и решать. Для этого нужны материальные возможности и полная свобода. У них нет ни того, ни другого”, — писала она в 1997 г. (“Мельницы, работающие без жерновов”).

Остаётся ещё раз подивиться актуальности сказанного на сегодняшней день. Нам и сегодня необходима полная свобода — по крайней мере интеллектуальная — для того, чтобы самим вершить судьбу своей родины и свою собственную, а материальные возможности, даст Бог, со временем наработаем.

Механизм власти — вот что интересует публициста в ряде статей — как она достигается, чему служит, когда какую цель преследует? “Как выясняется, достичь власти и занять высокий пост — не такое уж трудное дело”, — пишет А.Саинян в статье “Опаздываете, молодые люди”.

Чрезвычайно интересна высказанная в той же статье мысль автора о том, как на огромной революционной волне в России пришла к власти “в результате мелких интриг” партия большевиков. После захвата власти естественным было бы создать новый прочный механизм, способный обеспечить массам свободную, равноправную, счастливую жизнь. Однако большевики вместо этого создали власть тирании, которая продержала собственный народ в лишениях и терроре более 70-ти лет. Страна превратилась в сплошной огромный рабочий лагерь усиленного режима, а власть легко и незаметно для народа переходила от одного диктатора к другому. “Вот тебе свобода, вот тебе счастливая жизнь!”

За железным занавесом происходили перевороты, заговоры, творились преступления, и всё оставалось в узком кругу номенклатурной партийной верхушки. А если кто-то, как Хрущёв, пытался что-то изменить во властных структурах, а, следовательно, и в политике, то его неизбежно засасывало в механизм налаженной государственной машины, перемалывало и отбрасывало прочь.

Вопросы общественно-политической жизни, морали и этики всегда находились в центре внимания публицистики А.Саинян. Особую остроту они приобретают в период, когда страна уже имеет статус независимого государства, но жизнь в республике ещё далека от стабильности.

В статьях этого периода слышится горечь честного и неравнодушного представителя творческой интеллигенции, считающего

себя ответственным за судьбу страны и её граждан. Хочется отметить особый стиль публициста, о котором уже было сказано выше: по силе созданных образов и картин можно безошибочно узнать почерк писателя-романиста.

С болью и страхом за будущее страны пишет А.Саинян о пятилетнем ребенке, который на вопрос, кем бы он хотел стать, когда вырастет, отвечает: “Вором!”. Автор справедливо заключает: “Старая мудрость — хочешь узнать правду о семье (или обществе), разговори ребёнка”.

Историчность присутствует и в очерках А.Саинян нового времени — будущий исследователь наших дней вполне может ориентироваться по ним.

Резка и бескопромиссна А.Саинян при оценке действий властных структур в одной из сравнительно недавних своих статей (*нелишне упомянуть, что в 2004-м, когда писалась эта статья, Анаит Саинян было уже 87 лет. — В.К.*) под названием “О судьбе Давида Сасунского”.^{*} А.Саинян болеет душой за народ, за свою страну, и в этом нет желания выставить свой патриотизм напоказ, завоевать славу “воительницы” за права народа. Она искренна, как всегда. А в конце статьи становится понятно, почему в названии статьи упоминается герой национального эпоса: “Если кто, проходя мимо памятника Давиду Сасунскому, поднял голову и посмотрел вверх, то не мог не заметить, что изпод копыт Куркик Джалали исчезла медная чаша. Конечно же, это проделки мелкого воришки... Но есть и крупные воры. Так что если когда-нибудь придём и увидим, что Давид и Куркик Джалали также исчезли с постамента, то подумаем: дай бог, чтобы не вывезли это в качестве лома в Иран, а отдали России в счёт выплаты за имущественный долг, и пусть стоит памятник в Петербурге, на берегу Невы, по соседству с Петром Великим”.

Этот абзац, как и многое из написанного А.Саинян, удивляет прозорливостью — будто она в 2004 году могла знать, какая участь постигнет исчезнувшие в 2008-м скульптуры и мемориальные рельефы Л.Нерсисяна, Г.Ачаряна, С.Багдасаряна, другого народного героя — Ваагна, скульптуру “Свет” С.Казаряна, получившую высокую награду на Международном биеннале бронзовой скульптуры в Равенне, и т.д. — каждый день с ужасом ждёшь пополнения этого списка. Статья заканчивается абсолютно логич-

^{*} А.Саинян. О судьбе “Давида Сасунского” (на арм. яз.), “Глас воющего в пустыне”, книга 1, Ереван, 2005, с. 303-309.

но вытекающей из вышесказанного поговоркой, будто специально возникшей по этому случаю: “Вор этот из нашего же дома, и выносит он имущество из домашнего ердика”.

Интересно объяснение А.Саинян того, почему она видит скульптуру Давида Сасунского именно в Петербурге (кстати, ещё одна особенность статей А.Саинян — даже в чисто публицистический текст вкрапливаются её живые впечатления, описания, воспоминания). Однажды в Доме творчества в подмосковном Переделкино она услышала в беседе писателей следующие слова: “Видел потрясающую скульптуру в Ереване — памятник Давиду Сасунскому, и пожалел, что она не в Ленинграде”. Анаит Саинян пишет о чувствах, которые она при этом испытала — естественной гордости и одновременно уязвленности. “Кто же мог знать, что ждёт нас впереди?”, — печально вопрошает публицист.

К счастью, не всё потеряно в обществе, в котором много молодых, полных сил и желания хоть что-то изменить в мире к лучшему, и вот о них-то и пишет А.Саинян: “Молодёжь найдёт свою дорогу, создаст свою идеологию — во имя нравственности”. Конечно, говоря о молодёжи, не следует забывать, что физический возраст в общем-то мало что значит. Это подтверждается и примером самой Анаит Саинян — достаточно зрелой и мудрой в своих самых ранних, написанных в бытность студенткой статьях, и обладающей свежим видением и молодой остротой восприятия по сей день, когда ей уже за 90.

Надежда любой страны в её молодёжи, а молодёжь в свою очередь не может обойтись без прошлого опыта, наработанного старшими поколениями: “Я почти уверена, что он (опыт старших — В.К.) им пригодится. Идя вперёд, иногда необходимо бывает оглянуться”. Смотреть назад — имеется в виду вспоминать всё лучшее, сделанное до нас, мудрые слова и дела тех, кто достойно прожил свою жизнь — и неважно, когда: в глубокой древности или совсем недавно. Тоска по старшим, по мудрости их опыта заметна и у самой Анаит Саинян: “Вот если б были живы Паустовский и все наши великие, и по очереди бы встали за кафедрой и высказали всё, что не смогли в своё время сказать и унесли с собой, в себе”.

Человек, понимающий, как важно поделиться с идущими вслед за тобой, естественно, делится сам, не жалея своих знаний и мыслей, отдавая всё на суд грядущим поколениям.

Не последнее место в этом занимает красота — в жизни, в искусстве, во взаимоотношениях людей, и никакие идеи не могут

быть оправданы, если им в жертву приносится красота. Истинно великие идеи не требуют подобных жертв.

ЛИТЕРАТУРНЫЕ ПОРТРЕТЫ

В публицистическом творчестве Анаит Саинян особое место занимают литературные портреты. Характерно, что сама она называет их “скульптурными портретами”. Это определение очень точно отражает суть — они настолько выпуклы, рельефны, реалистичны и одновременно художественны, что иначе, как “скульптурными”, их не назовёшь.

В большом количестве этих портретов можно выделить несколько основных, если так можно выразиться, групп: старшие по возрасту мастера, уважение и чувство восторга и трепета перед которыми побуждали её писать о них; ровесники-друзья, большинство из которых составляют гордость армянской культуры; родные и односельчане, деяния которых в разных сферах дали много впечатлений писательнице.

Самое впечатляющее в “портретных очерках” Саинян — умение создавать живые, яркие образы, которые выходят за рамки обычной публицистики, приближаясь к художественной литературе самого высокого уровня.

Особой теплотой пронизан очерк о Маро Маркарян — прекрасной поэтессе и многолетней близкой подруге Анаит Саинян. Их связывала дружба давняя — со студенческих лет, прошедшая через всю жизнь. Но это была дружба не только двух подруг, а двух ярких представительниц армянской литературы, имена которых заняли своё прочное место в истории не только армянской, но, благодаря переводам, и всей многонациональной литературы бывшего Советского Союза.

Второй из друзей А.Саинян видный представитель армянской литературы — поэт Рачья Ованисян — предстаёт в её очерке и как незаурядная творческая личность, и как общественный деятель широкого профиля, пользующийся глубоким уважением всех знавших его и большой любовью друзей. Опять же живой, яркий образ человека, который в бытность свою председателем Союза писателей от всего сердца, не формально занимался делами всех нуждающихся в этом — речь идёт в особенности о беженцах из Азербайджана. “Трудно представить, — пишет А.Саинян, — что в эти дни на этом месте мог бы сидеть кто-нибудь

другой, не обладающий умом, сердцем и душой Рачья Ованисяна”.

Особая группа портретов — односельчане, жители деревни Вардаблур. Яркие, запоминающиеся образы знакомых, родственников, среди которых с особым чувством пишет Саинян о своём брате — известном архитекторе Александре Саиняне, который помимо множества серьёзных научных работ обессмертил себя восстановлением языческого храма в Гарни в натуре. “Не подумайте, что Александра Саиняна сделали известным архитектором город и Политехнический институт. Всё, что было нужно для этого, он взял с собой отсюда (*из Вардаблур*). — В.К.), этот дар ему дали эта земля и вода...”.

В числе известных вардаблурцев А.Саинян представляет крупных учёных — химика Арутюна Абеяна, биолога Аветика Тер-Погосяна — людей, получивших образование в Европе, но посвятивших свой талант, свои знания, свои умения развитию своей страны. “Если Цюрих сделал его великим учёным (*речь идёт конкретно об Абеяне*). — В.К.), то почему не все выпускники цюрихского университета становятся такими и не добиваются столького?” — совершенно справедливо спрашивает публицист.

Люди, о которых пишет А.Саинян, — в основном известные деятели нашей культуры, среди которых много её личных друзей. И вот о них она пишет с особенной теплотой. Нескрываемой ностальгией полны её очерки-портреты друзей, которых она знает с ранней молодости — с ними она прошла жизнь, разделила радости и печали. Такими светлыми чувствами проникнуты её очерки об известном литературоведе-театроведе Левоне Ахвердяне, переводчике-литературоведе Лили Тер-Минасян, поэте Рачья Ованисяне. Она вспоминает их молодость, создаёт яркие человеческие образы, описывает встречи с ними, не забывая при этом профессионально характеризовать и оценить их вклад в нашу литературу и культуру.

Большой интерес представляет очерк об очень известном в своё время первом секретаре ЦК Компартии Армении Григоре Арутюняне (1900-1957), слава которого дошла до наших дней. На его долю выпала тяжёлая ответственность занимать этот непростой пост в очень трудное время сталинизма и разгула Берии (1937-1953). Берия и прислал его — тбилисского армянина — в Ереван, чтобы его руками сделать в Армении то, что не сделали прежние руководители, также известные своей порядочностью — Ханджян и Аматуни. Он и считался в первое время “человеком

Берии”. Одновременно Берия выразил уверенность, что с “Арутиновым” покончат сами армяне. Полагалось, что он, как чужак в Армении, будет проводить здесь бериевскую арменофобскую политику. Однако вышло наоборот. Арутинов, ставший Арутюняном, почувствовал себя армянином не только по имени, но и по сути, приобретя свойственные истинно государственному деятелю-патриоту качества — целеустремлённость и твёрдость убеждений, знание культуры и науки страны (при нём были созданы Академия наук и Матенадаран, строились города, закладывались основы современной национальной архитектуры и т.д.). Однако система продолжала работать сокрушительным образом, требуя всё новых человеческих жертв. Характерен для Арутюняна эпизод, когда он вызвал к себе писателей старшего поколения, прося их уговорить Аветика Исаакяна написать посвящённое Сталину стихотворение, которое спасёт его и поможет тем, кто заступался за него. После долгого сопротивления Исаакян уступил уговорам, тем самым оградив себя и остальных от преследований и репрессий.

В статье чрезвычайно важны выводы автора относительно образа истинного руководителя страны, его отношения к науке и культуре, последовательность в деле их развития, строгость и принципиальность в отношении зарвавшихся чиновников и непорядочных людей вообще. В том деморализованном, по определению А.Саинян, обществе, такого человека, как Арутюнян, не могли терпеть долго: сфабриковав ложные обвинения под предлогом требуемых тогда обязательных “критики и самокритики”, его сняли с должности, после чего он прожил всего четыре года, а страна лишилась понимающего, чуткого, умного руководителя. “Критика и самокритика” хороши и честны, если их используют честные люди с честными намерениями, — заключает А.Саинян. Однако основной вывод в том, что нашей стране необходимы такие руководители — истинные “хозяева”, которые близко к сердцу будут принимать её заботы и положение народа, действуя не в своих интересах, а в общественных. Тогда народ не был бы, по её выражению, “столь покинут и отвержен”. Саинян, как всегда, резка и принципиальна, однако эта резкость понятна и объяснима.

“Я верю — Арутюнян вернётся”, — завершает статью Саинян, и нам тоже хочется верить, что добро и праведные труды в любых их проявлениях не будут потеряны во времени и действительно вернуться. А этому видному деятелю и порядочному человеку будет воздано по заслугам. “История ещё скажет своё слово о нём”, — пишет А.Саинян, и эта уверенность может быть от-

несена ко всем, о ком она писала — с печалью и радостью, с восхищением и благодарностью. Память — одно из важнейших качеств человека, и Анаит Саинян обладает ею в полной мере.

Преданный патриот своей страны, гражданин, не желающий мириться с недостатками общества, вскрывающий их и даже дающий рецепты “лечения” — такой предстаёт Анаит Саинян не только в своих художественных, но и публицистических произведениях, которые дают нам возможность изучать собственную историю и не оставаться равнодушным, чувствовать и брать на себя ответственность за свою страну.



Сдано в набор 06.05.2009. Подписано к печати 30.07.2009.

Формат 84x108 1/36. Офсетная печать.

Бумага типографская № 1. Печ. л. 12.

Заказ № 34. Регистрационный номер 43.

Адрес редакции:

375019, Ереван, пр. Баграмяна, 3.

Телефоны: 56-35-57, 56-36-66, 56-35-58.

Отпечатано в типографии ООО “ЗАНГАК-97”

